

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**В** Москве, в большой старой квартире, умирал человек. Была поздняя осень, давно опостылевшая москвичам затяжными мокропадами, когда не поймешь — дождь ли это или сырой туман все сеется и сеется над притихшей столицей, словно бы придавленной низкими серыми тучами, лениво плывущими с Севера за Урал. И человек, отрешенно и одиноко лежавший в постели на высоко взбитых подушках, всем своим давно состарившимся нутром чувствовал эту промозглую сырость, проникающую не только в квартиру... И низкие серые облака, нескончаемой чередой плывущие над городом, он тоже хорошо чувствовал, и даже более того: они в нем вызывали какие-то давние ассоциации, вроде бы близкие и знакомые, но никак не поддающиеся осмыслению сейчас. Это его слегка раздражало, поскольку за всю свою долгую и непростую жизнь он привык к предельной четкости, порядку и определенности. Он морщился, слегка сдвигая седые брови и что-то шелуша сухими губами. И почти сразу же, словно услышав это беззвучное шелушение, в дверях появлялась Евфимия. Она пристально вглядывалась в старика, бесшумно пересекала большую комнату и останавливалась в ногах у больного.

— Что-нибудь нужно, Викентий Изотович? — спрашивала Евфимия, невольно поддельваясь под старика слабым голосом и кротким взглядом.

— Нет... Спасибо, — веки у старика слегка дрогнули.

— А то, может быть, творожка покушаете?

— Ступай, — Викентий Изотович поднял и вновь тяжело уронил на одеяло крупную, костистую руку с длинными, словно бы прозрачными пальцами.

— Из штаба звонили, — Евфимия прошлась вокруг деревянной кровати, быстро и легко поправляя постель. — Здоровьем интересовались.

— Никак не дождутся, — Викентий Изотович усмехнулся, обнажая крупные и, невзирая на возраст, все еще крепкие зубы. — Ты бы им сказала, Евфимия, что скоро уже... Пусть еще немного потерпят.

— Не выдумывайте... Может, сок принести?

— Нет... Ты, вот что, задерни-ка лучше шторы.

— Шторы? — удивилась Евфимия.

— Ну да... Не могу я на эту серость смотреть, — Викентий Изотович глазами показал за окно.

— А и вправду, — вздохнула Евфимия, — до каких погод мы дожили: зимою — без снега, а летом — солнца не увидишь...

Евфимия потянула за шнурок и шторы плавно сошлись на середине окна, отгородив весь серо-мокрый мир от постели больного. В комнате сразу стало сумрачно и тревожно.

— Может, чего хочется, Викентий Изотович, так вы скажите...

— Спасибо, дорогая, спасибо... Включи мне настольную лампу. Я, может быть, почитаю...

— Вот и славно, — обрадовалась Евфимия, включая на ночном столике лампу и сдвигая в сторону лекарства. — Вот и хорошо бы.

Когда Евфимия вышла, прихватив с собою кружку и давно остывшую грелку, старик прикрыл глаза. Чувствовал он себя сегодня неплохо, но сознательно не хотел выходить из той полосы обреченности, в которую втянулся после выписки домой из госпиталя под присмотр Евфимии.

Лечащий врач вначале и слушать его не хотел, прочно загородившись теми казенными словами, которые обычно говорят все врачи в подобных случаях. «Как можно, Викентий Изотович, через недельку мы вас обязательно на ноги поставим! Да вы еще у нас!» Но Викентий Изотович, со вниманием выслушав все эти глупости, вдруг ровным, спокойным голосом спросил: «Простите, молодой человек, а от чего вы все-таки меня лечите?» Конечно же, у врача и на этот случай были заготовлены бронебойные штампы из русских и латинских слов, в сочетании которых для непосвященного человека чудилось исцеление. Но в данном конкретном случае молодого эскулапа смутила всезнающая усмешка пациента. «Последние достижения в области фармацевтики позволяют нам надеяться на благополучный исход даже в самых безнадежных случаях. А в вашем...»

«И все-таки, от чего вы меня лечите?» — перебил Викентий Изотович.

«Гм, — врач внимательно, вприщур посмотрел на него, — у вас, как вы знаете, основательно изношено сердце...»

«Да нет же, — опять перебил Викентий Изотович, — вы пытаетесь лечить меня от старости... Так ведь? А вот лекарство от нее ваши фармацевты пока еще не придумали. Не правда ли?»

Лечащий врач еще немного посопровтивлялся и наконец дал добро на выписку. И вот тут-то...

Он-то думал, что догадался об истинном положении вещей только он один, а не — нет... Догадались и дома: его кровать из спальни комнаты была убрана, а вещи уложены в чемодан и задвинуты глубоко на антресоли. Даже шлепанцы, в которых он ходил по дому, исчезли и впоследствии так и не нашлись. Конечно, все это было закономерно, он это понимал, и все же, все же, все же... После всего этого выглядеть здоровым ему казалось преступно, несправедливо по отношению к родным.

А тут еще кстати припомнилось, как непостижимо быстро, в два-три дня после смерти, исчезли из дома все вещи жены, Капитолины Егоровны. Он, вечный и последовательный противник всяких сантиментов, вдруг вознамерился сохранить в память о своей Капе хоть какую-то ее личную вещь... И что же! Квартиру, все три немалые комнаты, перевернули буквально вверх дном, но так ничего и не нашли. Елена Викентьевна, присутствовавшая при этом, объяснила все просто: «Мама сама попросила раздать все ее вещи — ничего не оставлять. Да и в самом деле — зачем?» Пришлось сделать вид, что он согласен с дочерью и никаких претензий по этому поводу не имеет. А на память о жене, с которой бок о бок было прожито ровно полвека, осталась в спальне только ее кровать...

Викентий Изотович потянулся и выключил лампу. Долго лежал с открытыми глазами, пока не начал различать предметы. А мысли текли своим чередом, порой — совсем неожиданные, не приходившие раньше ему в голову. Например, разве мог бы он раньше додуматься до такого абсурда, что Капитолина Егоровна,

его любимая Капа, где-то там, в запределье, терпеливо дожидается его. И не только дожидается, а вроде как и поторапливает, поскольку соскучилась по нему за минувшие шесть лет. Ужели и в самом деле — шесть лет? Это в какие молодые годы ушла она от него! Даже до семидесяти не дотянула, а ему уже вот-вот восемьдесят стукнет. Эх, кабы можно было от себя да ей несколько годков оторвать, а потом в одночасье и уйти в это самое запределье. И разве посмели бы при ней чемоданы с его шмутками прежде времени на антресоли убирать...

Постепенно Викентий Изотович погружается в забытьё: он еще не во сне, но уже и не наяву. Он любит потом вспоминать эти минуты. Вот он видит свою Капу... Да, именно такой она была в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, когда он, курсант высшего военного училища, на ходу вскочил в трамвай...

Очнулся Викентий Изотович лишь после того, как Евфимия коснулась его плеча рукой.

— Да... Что такое? — растерянно уставился он в узкое и строгое лицо домработницы.

— Вам опять из штаба звонят, — кивнула в сторону прихожей Евфимия. — Зачем-то вы срочно им понадобились.

Викентий Изотович отрицательно покачал головой.

— Говорят, что сам Бурценко просил с вами связаться.

— Что? — старик медленно приподнялся на локтях и переспросил: — Что ты сказала?

— Говорят, что по просьбе самого Бурценко вас добиваются.

— Хорошо... Давай сюда телефон.

Евфимия ушла и вскоре вернулась с телефонным аппаратом на длинном, гибком шнуре. Поставив аппарат на столик, она протянула трубку Викентию Изотовичу. Он с усилием еще немного подтянулся и сел в постели. Взяв трубку, некоторое время подержал ее на весу и лишь затем медленно поднес к уху.

— Я вас слушаю, — он прокашлялся и уже более твердо и отрывисто сказал: — Куликов у аппарата.

Там, на другом конце провода, молодой и сильный голос поприветствовал его, обращаясь по-уставному коротко и ясно. Викентий Изотович поймал себя на том, что не без удовольствия слышит этот голос, представляя бравого, краснощекого майора с прозрачно-голубыми глазами. Как и думал Викентий Изотович, Евфимия все перепутала: звонили не из штаба, а из политотдела. И просьба у них была самая заурядная, давно знакомая Куликову: записать на магнитофон обращение к молодым курсантам военного училища, которое некогда заканчивал он сам.

— Я как минимум раза три уже записывался, — ворчливо ответил Куликов. — К тому же — не очень хорошо себя чувствую.

— Извините, пожалуйста, товарищ генерал, мы понимаем, но...

В общем, все там понимали, со всем соглашались и убедительно просили все-таки записаться, учитывая международное положение и так далее.

— Я не привык торговаться, — наконец отрезал Куликов.

— Вы скажете в микрофон только год, а мы эту фразу вмонтируем в одну из старых ваших записей...

«Этот майор далеко пойдет, — вяло подумал Викентий Изотович, опуская трубку на аппарат, впрочем, не чувствуя ни малейшего раздражения против майора. — Его напору мог бы позавидовать и танк...»

— Евфимия, голубушка, — позвал Куликов. — Никогда больше, слышишь, не соединяй меня с этим человеком... Поняла?

— А как же Бурценко?

— Да какой там Бурценко! — Викентий Изотович поморщился.

— Кушать будете? — сменила тему Евфимия.

— Пожалуй...

— Здесь будете или на кухню пойдем?

— Подай мне халат.

Когда Евфимия вышла, Куликов выпростал из-под одеяла высохшие за годы старости ноги. Нащупав шлепанцы, купленные внучкой в спортивном магазине, Викентий Изотович без удовольствия сунул в них холодные ступни, явственно ощущая все швы и складки бездарной поделки какой-то обувной фабрики. Потом натянул теплый байковый халат, аккуратно запахнул полы и с усилием встал на задрожавшие от напряжения ноги. Голова слегка закружилась, и Куликов на мгновение прикрыл глаза, справляясь с подступившей слабостью.

— Ну вот, опять вы носки не надели, — укорила его Евфимия, когда он, высокий и тощий, с пожелтевшим лицом, тяжело опираясь на трость, перешагнул порог кухни. — Право, как маленький...

— Не ворчи, — добродушно прервал ее Куликов. — Сколько помню, всегда ты ворчишь.

— А если вы не слушаетесь... Вот когда Капитолина Егоровна была, вы вели себя дома помирнее.

— То Капитолина Егоровна, — улыбнулся Куликов, присаживаясь за кухонный стол. — В ней сразу два генерала сидело: один по стратегической части, другой — по тактической... Мне с нею трудно было тягаться.

— Тогда вы еще одного генерала забыли, — ответно улыбнулась Евфимия, прикрывая рот узкой, сильной рукой.

— Это еще какого? — притворно удивился Куликов.

— А по домашнему многоборью, как вы всегда говорили...

— Верно, Евфимия, запомнил я третье ее генеральское звание... Вот видишь, уже и память подводить стала. А раньше все помнил... — И вдруг, неожиданно даже для себя, Викентий Изотович твердо заключил: — Помру я скоро, Евфимия, совсем уже скоро...

— Да полно вам, Викентий Изотович, — всплеснула руками Евфимия, — выдумывать про себя всякую напраслину. — Вон, сами говорили, Масловский до девяноста восьми лет прожил, и если бы на сквозняке не простудился...

— Нет, Евфимия, нет! — Куликов поднял и твердо опустил руку на стол. — Я свой срок изжил... Я, Евфимия, если говорить правду, еще в войну ее обманул. Один солдатик помог мне ее надуть... Не веришь? Напрасно... Она-то, с косой, совсем уже рядом была, вот здесь, — Викентий Изотович ткнул пальцем в висок. — Секунды какой-то ей не хватило.

— Что-то я не припомню, чтобы вы об этом Капитолине Егоровне рассказывали? — удивленно посмотрела на Куликова Евфимия.

— Она об этом и не знала, — Викентий Изотович вздохнул, облизал сухие губы и молча уставился остановившимся взглядом за окно, за которым все продолжали тащиться бесконечные низкие облака.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Ближе к вечеру, когда серость ничем не приметного дня начала перетекать в сумерки, Викентий Изотович вновь погрузился в свое излюбленное теперешнее состояние — между явью и сном... Вот он, молодой и сильный (да было ли это когда-то?), на двадцать пятом году жизни уже вскочил в медленнодвигающийся трамвай и покатил сам не зная куда — Москву смотреть. Но так получилось, что в

первую очередь он увидел молоденькую вагоновожатую в красной косынке, уверенно ведущую громыхающее железное чудовище по блестящим металлическим рельсам. Курносая, с удивительно живыми карими глазами и мягким круглым овалом лица вагоновожатая, сама того не ведая, одержала мгновенную победу над опытным командиром Красной армии, а ныне — курсантом Высшего военного училища...

— К тебе можно, мой дорогой grosфатер?

Викентий Изотович вздрогнул от неожиданности и открыл глаза.

— Я включу свет, хорошо?

Яркая люстра вспыхнула под потолком, и Куликов невольно зажмурился, а потом и рукой загородился от света.

— Как ты себя чувствуешь? — внучка прошла и села в ногах у Куликова. — Выглядишь ты неплохо...

— Спасибо на добром слове, — Викентий Изотович усмехнулся.

— На улице — мерзость, — внучка передернула плечами и быстрым, нервным движением поправила короткую стрижку обесцвеченных волос.

— Я что-то запамятовал, ты цветом-то у нас какая?

— Серо-буро-малиновая... Породы не хватило, чтобы в брюнетки выйти. Меня Валерка поэтому и бросил.

— А он таки бросил тебя?

— Точняк! Сейчас у него знаешь какая красotka — из самых жгучих брюнеток!

— Все шутишь, Луиза?

— Зачем? Истинную правду тебе говорю...

— Да разве можно о своем муже такое говорить?

— Ты забываешь, мой генерал, что он давно уже мне не муж.

— А зачем сюда-то ходит? — Викентий Изотович выпростал руки из-под одеяла и с легкой иронией посмотрел на тонкое, красивое лицо внучки, щедро оснащенное всеми средствами косметики.

— Надо полагать — к сыну...

— Понятно.

— Маман не приходила?

— Вроде бы нет. По крайней мере, я ее не видел.

— Странно...

— Почему?

— Она позвонила мне на работу и сказала, что собирается к тебе.

— Может, еще придет, — Куликов нахмурился и посмотрел на дверь — ему хотелось пить.

— Она утром звонила, а теперь уже вечер.

Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Евфимия. Без удовольствия взглянув на яркую люстру, она обратилась к Куликову:

— Может, попьете, Викентий Изотович?

— Да, голубушка Евфимия.

— Квас или сок брусничный будете?

— Пожалуй что — сок...

Так же бесшумно Евфимия прикрыла за собою дверь.

— А новость ты уже знаешь? — Луиза сощурилась, как это делал дед, и правым указательным пальцем крепко придавила нижнюю губу.

— Скажешь — буду знать.

— Мама замуж выходит...

Викентий Изотович озадаченно уставился на внучку и недоверчиво переспросил:

— Замуж?

— Тс-с! — внучка поджала губы и терпеливо выждала, пока Евфимия принесла и поставила на столик кружку с соком, прикрытую бумажной салфеткой. Видя, что Евфимия ожидает, пока дед попьет, она нетерпеливо махнула рукой. — Ступай, кружку я сама принесу.

— Вам скоро кушать пора, — не обращая внимания на Луизу, напомнила Евфимия. — Что приготовить?

— Да мне все одно, — невнимательно ответил Куликов, все еще озадаченный сообщением внучки.

— Давеча вы говорили, что вам селедки с отварным картофелем хочется?

— Вот и приготовь, будь добра, Фимушка...

Куликов звал так Евфимию далеко не всегда, и она, вспыхнув от удовольствия, прошуршав своими темными нарядами, скрылась за дверью.

— Пугало огородное, — презрительно сощурилась ей вслед Луиза.

— Перестань, — нахмурился Викентий Изотович. — Она тебя вырастила.

— Не могу смотреть на эти ее темные юбки и кофты — богомолка доморощенная.

— Луиза!

— Молчу... Ну и как тебе новость?

— Признаться, не ожидал...

— В том-то и дело. Она в этом году на пенсию выходит... Конечно, это ее дело, но, право, смешно! И потом — новый человек в доме, зачем это? Я уже не говорю про память об отце...

— А он кто? — вяло поинтересовался Куликов.

— Какой-то инженер, кажется, с завода... Представь себе — бездетный: ни разу замужем не был.

— Женатым, — машинально поправил Куликов.

— Да нет, сдастся мне, что он именно замуж собрался, поскольку перебирается в ее квартиру и, надо понимать, на ее иждивение.

— Что за тон, Луиза? — поморщился Викентий Изотович. — Ведь ты его совсем не знаешь, а говоришь так, словно бы...

— Я видела его дважды, — перебила внучка, — этого вполне достаточно... Мама говорит, что они знакомы еще со школы, но я в это не верю. Выдумывает, конечно же... Они, видишь ли, когда-то в ладушки играли, потом прошло много-много лет, они встретились и поняли, что любили друг друга всегда: сын приходящей прачки и генеральская дочь. Очень трогательно!

— Послушай, Луиза, почему ты так говоришь? — досадливо поморщился Куликов, разглаживая невидимые складки на одеяле.

— Как?

— Неужели ты и в самом деле не веришь, что так может случиться?

— Конечно, нет! Никогда не знала она его раньше... Просто сочинила красивую мультку для родственников.

— Да зачем?

— Чтобы оправдать этот свой дурацкий поступок...

Викентий Изотович отвернул голову и прикрыл глаза: ему стало тяжело и неловко за внучку. Единственное, что его утешало: внучка была явно не в настроении и отсюда, видимо, этот откровенный цинизм, пренебрежение к чувствам матери. Конечно, Куликов тоже не был в восторге от решения дочери выйти замуж на пятьдесят шестом году жизни, но он вполне допускал, что такое возможно, а в некоторых случаях — просто необходимо.

— Ты устал, да? Я тебя утомила? Ладно, больше не буду... Пойду, приму ванну. Сегодня у нас вечер в ресторане «Прага».

Внучка поднялась и подошла к окну. Была она в джинсах, плотно облегающих узкие бедра, и светленькой рубашке в мелкую клетку. Тонкая талия и плоская грудь, как считал Викентий Изотович, не красили внучку. Однако, насколько он понимал, внучка гордилась своей фигурой и многое делала для того, чтобы оставаться в таком вот тощем виде. И, может быть впервые, Куликов особенно остро почувствовал, осознал до конца, что пришли жить совсем иные люди, малознакомые ему, среди которых он, восьмидесятилетний человек, как доисторическое существо, бог знает зачем задержавшееся на земле...

— И что за мерзость на улице, — вздохнула Луиза. — Главное, что и на даче теперь такая же гадость.

«А вот я в ее возрасте, — думает Викентий Изотович, — погоду вообще не замечал. Мне в те годы любая погода нормальной казалась. А ведь приходилось жить то в походных палатках, то в армейских казармах... И не только я, а и Капа зиму от лета не отличала. А этим все не так: зимой — холодно, летом — жарко... Они забыли уже, что в природе четыре времени года... А чего им: захотели — море построили, реки вспять повернули. А там, глядишь, и климат какой-нибудь средненький установят, когда ни лета, ни зимы не будет...» Слава богу, он до этого усовершенствования уже не доживет.

— Все хочу тебя спросить, мой дорогой grosфатер, — внучка повернулась и от окна внимательно и серьезно уперлась глазами в его подбородок, вновь прижимая нижнюю губу указательным пальцем. — Тебе страшно?

Викентий Изотович не понял и вопросительно вскинул седые брови, от чего шрам на левом виске натянулся и стал зудеть.

— Я хотела спросить: помирать тебе не страшно? — разъяснила внучка, все так же пристально всматриваясь в него.

— Помирать? — Викентий Изотович откашлялся и твердо сказал: — Нет, не страшно...

— А почему?

— Трудно сказать...

— Ты и вообще смерти не боялся или это у тебя только сейчас, перед концом?

Последние слова больно задели Куликова, но он постарался не придавать этому значения и с насильственной улыбкой спросил:

— Зачем это тебе, Луиза?

— Понимаешь, наш Сережка Воротников собирается о тебе очерк писать — ему заказали в каком-то журнале. А он документальные очерки пишет — будь здоров! Вот он и попросил меня разузнать побольше подробностей о тебе.

— Пусть он «Войну и мир» почитает, — глухо сказал Викентий Изотович. — Там об этом подробно написано.

— Ему лично твои ощущения нужны...

Куликов побагровел и, справляясь с волнением, неуклюже сел в постели, опустив ноги на пол. Ощувив приятную прохладу паркета и немного успокоившись, он с тихой горечью спросил:

— Послушай, Луиза, что ты меня раньше времени анатомируешь?

— А ты обиделся, да? — удивилась Луиза и быстро подошла к деду. Положив руки на его высокие, костистые плечи, она искренне и горячо попросила: — Прости, ради бога! Я думала, ты выше этого... Извини, мой бесценный grosфатер, ради бога — извини!

Луиза быстро склонилась и несколько раз подряд поцеловала Куликова во впалую щеку. А он, расчувствовавшись от этой ласки чуть ли не до слез, прижал ее узкую, загорелую руку подбородком.

— Человек не умеет быть выше этого, — прошептал Куликов. — Когда-нибудь и ты это поймешь... Так и передай своему...

— Сержке... Но он хочет сам с тобой поговорить.

— Ну нет, уволь! — возразил Викентий Изотович. — Только не это...

— Напрасно, мой генерал. Собеседник он интересный, и ты...

— Зато из меня теперь собеседник — никакой, — перебил внучку Куликов и поспешил перевести разговор: — Позвонила бы маме, поинтересовалась, почему она к нам не зашла?

Как всегда кстати, с подносом в руках на пороге появилась Евфимия. Строго взглянув на Луизу, она громко и решительно сказала:

— Викентию Изотовичу пора кушать.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В тот год осень на Амуре не задалась: с самого сентября занудили дожди, к началу октября охолодавшие настолько, что по ночам нередко переходили в мелкую сухую крупу, жесткостью своей и размером более смахивающую на пшенку. Рано утром эта пшенка еще похрустывала под ногами, а часам к десяти мокрела и вытаивала в слякоть.

А вот в середине октября, на Покрова, вдруг поднялся северный ветер и пошибал остатнюю листву с деревьев, как бы предупреждая, что зима предстоит суровая, долгая, пережить которую и зверю, и птице, и самому человеку — много сил и хлопот потребуется.

Правда, к утру ветер поутих, схоронился в таежных уремах до лучшей поры, но дело свое он сделал: начисто вылизал остудную землю, подобрал и скрипящий, подмороженный палый лист, и оброненные еловые веточки, и с лета залежавшийся клоч сена. А когда была свершена и эта работа, ничего другого уже не оставалось, как на чисто прибранную землю пасть первому снегу. И он повалил охотно и густо, никаких сомнений не оставляя в том, что ложится прочно, основательно — до весны.

И как все преобразилось вокруг с наступлением первого снежного дня.

Ефим Петрович Сыромятин семьдесят второй год на земле доживал, а дивиться и радоваться этому дню до сих пор не устал. Да и как иначе, если еще вчера вечером, перед сном, видел он унылые луга и мари, хмурые деревья и потрепанные кустарники, словно бы съезжившиеся от пронзительного ветра, а ныне повсюду сквозит пронзительная белизна, покрывшая луга и пашни. Ожил и посветлел за околицей лес, опрятнее стали даже многолетние завалы бурелома. Снежный убор неузнаваемо изменил и село, похоронив под своим покровом деревенский мусор, аккуратно прибрав улицы и огороды, притрусив крыши домов и сараюшек.

И вот уже побежала, заторопилась к ближнему лесу лыжня нетерпеливого охотника, решившего по первой пороше притравить собачкой зазевавшегося косога, так и не успевшего полностью перелинять. В прежние годы не утерпел бы и Ефим Петрович, снарядился по белотропу до Косой гривы, а ныне лишь глянул в угол, где сохранялось в достойном прилежании все его охотничье снаряжение. Вместо этого натянул Сыромятин теплый ватник, намотал поверх шерстяных носков суконные портянки и обул высокие, хорошо разношенные валенки с калошами. Шапчонка у него была старенькая, офицерская, доставшаяся ему из сношенного гардероба сына, Петра Ефимовича, служившего предпоследний год в армии. А вот вместо рукавиц прихватил Ефим Петрович с загнетка верхонки — руки у него никогда не мерзли — ни в молодости, ни теперь.

— Пошел? — спросила Степанида Ильинична, когда Сыромятин уже торкнулся во входную дверь.

— Пошел, — односложно ответил он и вышагнул за порог, на широкие крашенные половицы холодных сеней.



Первым делом Ефим Петрович растопил печурку в летней кухне, которая была срублена из хорошего кругляка и напоминала добротное зимовье. Когда ровное, тугое пламя забушевало в топке и от хорошей тяги уютно загудело в дымоходе, Сыромятин вывалил в большой ведерный чугунок с вечера заготовленную мелкую картошку, залил ее водой и присыпал отрубями. На вторую конфорку Ефим Петрович поставил эмалированный бак с пойлом для коровы и нетели.

К этому времени растопка почти прогорела, и он подзаправил печку еловыми полешками. Справив и это дело, Ефим Петрович, пристроившись у топки на коленях, достал и закурил папиросу. Густо выпуская дым через широкие ноздри, мимоходом пригладил и подкрутил жесткие рыжие усы. Докурив папиросу, дед Сыромятин, как теперь звали его в селе, загасил окурок, поднялся с колен и сунул палец в бак с пойлом — оно пока еще было холодным. Поправив шапку с хорошо видимым овальным следом от кокарды, Ефим Петрович натянул верхонки и вышел во двор, который у него, в отличие от многих подворий, был крыт целиком.

Дверь в стайку прикипела от мороза, и он пару раз бухнул в нее плечом, прежде чем она отошла от плотно обнимающих ее косяков. Внутренняя сторона двери подернулась пупырчатой изморозью, которую Ефим Петрович тут же смахнул верхонкой.

Маня, кормилица, повернув на шум голову, коротко взмыкнула, облизав влажные темные норки ноздрей шершавым языком.

— Потерпи маленько, — ласково сказал ей Ефим Петрович, удивленно разглядывая кур, не торопившихся покидать насест. Обычно стоило ему приоткрыть дверь, как они, хлопая крыльями и вытягивая коротковатые шеи, дружно выплескивались из стайки. Видимо, не хотелось куриному воинству покидать свой теплый угол, чтобы потом весь день шастать по морозному двору. Но, однако же, голод не тетка: полетела, заполошно квохча, на пол первая хохлатка, а за нею уже дружно сыпанули остальные. Последним, не теряя достоинства в этой утренней суеде, слетел с шестка червонно-сизый крупный петух. Покосившись на Сыромятина, взмахнул большими пестрыми крыльями с рыжими маховыми перьями, и неожиданно хрипло, коротко прокукарекал зóрю.

— Ишь ты, спохватился, — усмехнулся в усы Ефим Петрович. — А вообще, если правду сказать, натошак лишь два дурака поют: поп да петух.

Зорька, до сих пор лежавшая на сухой подстилке, начала подниматься.

— Ленива, ох и ленива же ты у нас, — укорил ее Сыромятин. — Похоже, даже сено жевать тебе в тягость. На пойло рассчитываешь? Не рассчитывай, много не получишь...

Молодая нетель, словно бы догадавшись, о чем говорит хозяин, сунула голову в ясли, громко фыркнула и долго потом выбирала клочок сена повкуснее.

— Так-то оно лучше, — одобрил ее Сыромятин, сгребая совковой лопатой коровьи лепешки и мокроту в одно место. — К весне, глядишь, ядрена-Матрена, и соломка в радость покажется.

Управившись возле скотины и задав ей корм, Ефим Петрович подживил огонь в топке, помешал узкой деревянной лопаточкой в чугунок: картохи еще жестко стучались друг о дружку, требуя дополнительной варки. А борову Ваське, давно поспевшему на выданье, уже невтерпеж: мечется по клетке, хрюкает, злобно грызет деревянную перегородку — подавай, дескать, законную похлебку. Ему подпеваает из пригона молодой Васятка... Васькины дни сочтены — до первых серьезных заморозков. И кормить его теперь — особого резона нет: заплывет жиром так, что на кислые щи постного кусочка не сыщешь. Ну а Васятку надо подкармливать, он пока что в рост идет.

Пока доваривались картохи, Ефим Петрович вторую утреннюю папиросу выкурил. Теперь он уместился на широкой теплой лавке возле небольшого оконца, через которое можно было обозревать улицу за своим огородом и добрый кусок

озера. Детвора, разбивая морозный воздух звонкими голосами, носилась по чистому снегу, то и дело падая в его легкие, пуховые объятия.

И мнилось Ефиму Петровичу, что совсем недавно, вроде бы вчера, бегал по этим сугробам и он, сопливый Ефимка, таская за собой тяжелые деревянные санки на тонкой веревочке. Вроде бы и голос его еще не отзвенел по-над озером, и не выветрились следы на снегу от его самокатной обуви... И так тяжело вздохнулось, так глухо и больно ухнуло что-то у него внутри — жизнь-то прошла... Вот здесь, у этого озера с одной стороны, и у великой реки — с другой. Прошли-пролетели здесь все семьдесят два года, за вычетом трех лет, что воевал он германца во Вторую мировую войну. И если каждый день, каждый месяц и год взять по отдельности, то тянутся они, тянутся — конца не видно, а оглянулся и сложил их вместе — единым мигом пролетели, так что один десяток лет от другого не враз отличишь...

Не без труда подхватил Сыромятин ведерный чугунок с плиты, почувствовав руками и спиной каждый его килограмм. Раньше-то Ефим Петрович и не задумывался, весит он там чего или нет. И все-таки пока еще осиливал он этот вес, не половинил, подгоняя под свои стариковские силы.

Размяв картошку с отрубями и дав хорошенько остыть, Ефим Петрович накормил свиней и уже в последнюю очередь, перед самым уходом в дом, плеснул варева в собачью миску. Шарик, наперед знавший свою очередь, терпеливо отсиживался в конуре, сопровождая каждый шаг хозяина преданно-вопросительным взглядом.

— Управился? — спросила Степанида Ильинична, едва передвигая разбитые ревматизмом ноги от печи к обеденному столу.

— Слава богу, — снимая ватник, ответил Ефим Петрович. — Мороз-то ноне ночью серьезный был, я двери в стайку едва отпер.

— Оно и видно — окна за ночь вон как изузорило.

— А Зорька наша, ядрена-Матрена, как бы в феврале не раскоровилась, — усмехнулся Ефим Петрович.

— Да ну? — удивилась Степанида Ильинична.

— Бока у нее расперло, — Ефим Петрович, сидя на табуретке, не без труда стягивал валенки, — что тот дирижабль стала...

— Теперь ей поило погуще надо давать, за двоих ведь ест.

— Ниче, молодая еще, своих соков хватает... Это вон Марта, старушка наша, все зубы уже пережевала.

— Радио-то включи погромче, сейчас последние известия будут.

Расправив усы и пригладив ладонью редкие волосы на голове, Сыромятин в одних шерстяных носках прошел к старенькому репродуктору, висевшему высоко над простенком. Крутнув колесико громкости и убедившись, что звука прибавилось достаточно, Ефим Петрович присел к столу, чувствуя ровный, требовательный аппетит.

— Тесто у меня из-за холода не подошло, — пожаловалась Степанида Ильинична. — Так что пирожки сегодня не получились. Завтра будут...

— Ну и ладно, — добродушно ответил Ефим Петрович. — А чем же ты нынче потчевать будешь?

— Да вот, картошку с салом пожарила, к ней кусок кетового балыка... Может, окорок из кладовки принести?

— Будет с меня, — отказался Сыромятин.

— Скоро Нина прибежит, корову подоит, тогда молока попьем. Вчерашнее я все пропустила: хочу сметаны поболее собрать да Людмиле в город отправить.

— Тоже верно, — одобрил Сыромятин и взялся за вилку.

Завтракали не спеша, между делом прислушиваясь к последним известиям. Когда начали передавать зарубежные новости, Ефим Петрович в знак особого внимания перестал есть.

— Эх, никак нейдет американцам, — неодобрительно покачал головой Ефим Петрович.

— Войны они не знали, вот что, — поддакнула мужу Степанида Ильинична и резко перешла на более важную для нее тему: — Я что подумала, Петрович... Зачем нам с тобою весь поросенок? Разве мы его съедем?

Ефим Петрович отложил вилку, уголок льняного полотенца промокнул рот и усы и внимательно уставился на широкое, с тяжелым двойным подбородком, но все еще милое для него лицо жены.

— Та-ак, — неопределенно протянул он.

— А вот если бы мы половину кабанчика продали в райцентре, — начала пояснять Степанида Ильинична, — да молоко не поросяткам скармливали, а на ферму сдавали, то к весне, глядишь, справили бы Ванятке мотоцикл... Если немного не хватит — Нина добавит...

— Мотоцикл, — Ефим Петрович нахмурился. — Мотоцикл — это хорошо... А вот Людмила-то втроем в одной комнатухе ютится, это как?

— Ну, ютится, — растерянно подтвердила Степанида Ильинична. — А при чем здесь это?

— При том, что менять ей квартиру пора, на двухкомнатную...

— Да ты что, Ефимий! — всплеснула руками Степанида Ильинична. — Да какой же это дурак из двухкомнатной квартиры в одну комнату пойдет?

— Сколько угодно ходят, — Ефим Петрович тяжело поднялся из-за стола и подсел к кухонной печурке покурить. — За деньги, конечно... У них там на это дело и такса определенная есть.

Степанида Ильинична задумалась, машинально убирая посуду со стола. Видно было, что слова Сыромятина озадачили ее.

— А что, Петрович, — немного погодя, сказала она, — правильно ты говоришь. Только по закону это будет или нет? А то ведь так можно поменять, что и без денег и без квартиры Людмила останется.

— Это уже пусть она сама решает — ее дело. Чай, не без головы... Наше дело деньгами помочь. У них-то на швейке, сама знаешь, по три квартиры в год дают, а у Людмилы очередь — тридцать шестая. Вот и считай...

— Конечно, Ванятка с мотоциклом погодит — не к спеху.

Они и еще поговорили о внуке с внучкой, львиную долю забот о которых добровольно взвалили на свои плечи. Потом Степанида Ильинична глянула в окно, на заснеженный мир улицы, и напугалась.

— Заболтались мы с тобой, а уже дочка с дойки бежит. Видно, домой к себе и не заглядывала... Поставь, отец, картошку на плиту, пусть разогреется.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Нине Ефимовне пошел пятьдесят второй год. Это была довольно крупная и сильная женщина, миловидность и женственность которой не смогли вытравить даже двадцатилетняя непрерывная работа дояркой на совхозной ферме. В сорокалетний юбилей к ней еще сватался Витка Романов. Вроде бы в шутку говорил, по привычке ломаясь и ерничая, а сватал-таки: в сельсовет зазывал. Конечно, Нина Ефимовна могла бы и пойти, так как вдовий ее век на полтора десятка лет растянулся, да вот с Ванькой разве на такое решишься? Двадцать пять лет уже парню, армию отслужил, а жениться пока не хочет, за материну юбку держится. А скажи ему чего — засмеет. Тут он мастер — каких поискать. Дома из-под коровы навоз не вычистит, а вот в клубе может сутками пропадать: все роли с заведующей клубом разучивают. Правда, потешать народ они

умеют: на праздничных концертах люди стоном стонут от их частушек и шуточек. Но разве это дело для молодого парня? В общем, все сходилось к тому, что надо бы Ваньку срочно женить, а там, глядишь, дурь сама из его головы вылетит...

— Это что же такое делается? — с порога заговорила Нина Ефимовна, развывая платок и скидывая на лавку полушубок. — Это когда еще так рано у нас снег выпал! И ведь лег, паразит, совсем: сухим и на мерзлую землю.

— По радио говорили, что в тысяча восемьсот каком-то году тоже так было, — Ефим Петрович поднял дочерин полушубок и повесил на гвоздь.

— Слушайте вы их больше — они наговорят, — Нина Ефимовна погрела руки над плитой и вдруг улыбнулась, показав белые, один к одному, крупные зубы. — А есть-то я как хочу!

— Садись. Все готово, — сказала ей мать.

— Никто ведь не ожидал, — рассказывала Нина Ефимовна. — Коровники на зиму утеплить не успели, выгребные ямы не почистили, а теперь все замерзло. Транспортер сегодня отказал, тоже, наверное, замерз. А на собрании докладывали, что все у них в порядке, все готово к зиме.

— На язык пошлин нет: всяк что хочет, то и лопочет, — заметил Ефим Петрович. — Мне вот, например, ничего к зиме утеплять не надо, так как стайка у меня всегда теплая. Среди лета грянет мороз и — ничего, сдюжим... А у вас вот все время к чему-то готовиться надо: то к лету, то к зиме.

— Ну, папа, ты тоже сравнил — свое хозяйство и совхозное.

— Так и я ведь один, а вас вон сколько! В одной конторе человек двадцать штаны протирает. Так или нет?

— Конечно, папа, — обиделась Нина Ефимовна, — у тебя только в родном леспромхозе полный порядок, а совхоз наш ты всегда костеришь... А я вот, как депутат, по наказам на ваши деляны ездила и вдоволь насмотрелась, чего там твой леспромхоз натворил.

— А чего он натворил? — вроде как не понял Сыромятин.

— Того... Они леса двести пятьдесят тысяч кубометров вывезли, а тридцать тысяч — на верхних складах и лесосеках оставили. Сколько молодого подростка истоптали — страшно даже смотреть.

— Так ведь лес рубят — щепки летят, — усмехнулся Ефим Петрович.

— О, гос-споди! — притворно возмутилась Степанида Ильинична. — Опять вы за свое? Вам что, поговорить больше не о чем?

— Так видишь, мама, нашему папе все совхозные порядки не нравятся. А наш совхоз, между прочим, начал прибыль давать.

— А леспромхоз со дня основания прибыль дает, — не сдавался Сыромятин. — И платят за нашу деловую древесину, между прочим, золотом.

— То-то его у тебя на обручальное кольцо не хватило, — улыбнулась Степанида Ильинична.

— Да мне оно, кольцо это... Вон, ноне все окольцованные ходят, а много они вместе живут? Сегодня сошлись, завтра — разошлись. А я, слава богу, золотую свадьбу с тобою справил. — Сыромятин откашлялся и неожиданно заговорил совсем о другом: — Кормами-то вы запаслись? Или в поле еще ваши корма?

— И в поле стога стоят, и на сеновале не пусто, — с гордостью ответила Нина Ефимовна, прихлебывая с блюдечка горячий чай...

Когда дочка ушла доить корову, поднялся и Ефим Петрович: пора было ставить дневное варево скотине.

— Тебя на диван проводить или посидишь еще? — спросил он супругу.

— Ступай. Меня Нина проводит.

— Ну, тогда добро...

С этими словами уже одетый и обутый Ефим Петрович распахнул дверь. И вот когда он толкал ее от себя, приналегая плечом, острая боль мгновенно прострелила левую сторону груди и осела под лопаткой. Да так она там окопалась, что невозможно было дыхание перевести, рукой пошевелить. Первое, о чем подумал Сыромятин, — паралич. О нем он думал всегда, так как при обезножившей жене хуже паралича ничего нельзя было придумать. Тут уже сразу продавай скотину, дом и садись дочери на шею... Но нет, вот он вышагнул за порог левой ногой и пусть не без труда, но подтянул правую.

— Петрович, никак что случилось? — обеспокоенно спросила за спиной жена.

— Да нет, ничего, — как мог спокойно ответил он. — Стрельнуло под лопатку.

— Прилег бы, отдохнул...

— Расхожусь потихоньку, — и он, прикрыв за собою дверь, привалился к стене.

Боль под лопаткой стояла, не давая вздохнуть, и Ефим Петрович, напрасно протомившись ожиданием, осторожно, шаг за шагом, побрел к летней кухне.

«Зря, видимо, чугун-то я ворочаю, — запоздало подумал он. — Отворочкался».

В избушке Ефим Петрович присел у окна, вжимаясь левым боком в оконный косяк — так было легче. Прошло пять, десять минут, прошло и полчаса, а боль не отпускала. Пока что тихо, но уже похрюкивали оба Васьки, промывчала Зорька, и Сыромятин, пересиливая боль, поднялся с лавки. Сходил к поленице и в правой руке, по одному полену, наносил дров. Потом, зажимая коробок сгибом локтя, чиркнул по нему спичкой, которая, опять же, была в правой руке. И всю остальную работу он в этот раз проделал правой рукой. А когда в печурке загудело пламя и можно было уже присесть и закурить, Ефим Петрович впервые всерьез задумался о случившейся беде...

Нельзя сказать, чтобы он ожидал такой напасти, но давно и твердо знал — нечто подобное с ним должно случиться. Обещал ему это и госпитальный хирург, когда Сыромятин отказался во второй раз лечь под нож. А и как было лечь тогда, если чувствовал он себя хорошо и светила ему досрочная выписка по случаю наплыва раненых из-под Сталинграда. И его перевели в другой госпиталь, в котором и врачей-то как таковых не было — заворачивали всеми делами фельдшера и медсестры. Впрочем, это разговор отдельный, а тогда ему госпитальный хирург сказал: «Осколок у вас под самым сердцем застрял... Надо бы его извлечь».

«А что же сразу-то не вытянули?» — с обидой спросил Ефим Петрович.

«Нельзя было, много крови вы потеряли, ослабли, так что риск был слишком большой».

«А теперь я не хочу под нож лечь», — упрямо свел брови Сыромятин.

«Мне-то что, — устало ответил хирург, — да только осколок этот всю жизнь при вас будет».

«И что же?» — насторожился Сыромятин.

«Да ничего особенного: просто однажды возьмет он и сдвинется, и перережет острой гранью кровеносный сосуд... Понимаете? Это может случиться через год или через десять лет — не знаю когда... Так что подумайте хорошо, время пока терпит».

И время, действительно, терпело: более сорока лет с той поры прошло — срок немалый. Ему уже на семьдесят второй год перевалило, и все эти годы время терпело, а Ефим Петрович об этом не забывал. Бывало, ворохнется острая боль под лопаткой, подержится какое-то время и сгинет бог знает куда. А вот как нынче случилось — такого еще не бывало...

— Ну, папа, я побежала, — заглянула к нему Нина Ефимовна. — Маму уложила, в комнате прибралась, а теперь и дома пора управиться.

— Повезло тебе, Нина, на два-то дома разрываться, — глухо сказал Ефим Петрович.

— Чего это? — сразу же спружинила голосом Нина Ефимовна.

— Не успеешь дома управиться, как вновь на работу надо бежать...

Нина Ефимовна прошла в летнюю кухню и села напротив отца.

— А как же иначе, папа? — мягко спросила она. — Раз так случилось — кто виноват? Даст бог, женим Ваньку, паразита, и пусть они там живут, а я к вам переберусь.

— Похоже, его невеста еще не родилась, — усмехнулся Ефим Петрович, старательно пряча от дочери глаза.

— Ничего, папа, найдется и на него боевая, вмиг скрутит — оглянуться не успеет. Он ведь только с вида боевой да бедовый...

— Это так, конечно, — согласился Сыромятин и поторопил дочку: — Ступай, Нина, а то ведь на работу опоздаешь.

Когда Нина Ефимовна ушла и стихли ее скрипящие по снегу шаги, Сыромятин отвалился от косяка — пора было подбрасывать дрова в топку, кормить скотину и птицу, двор мести, дорожку от калитки расчищать. И на все это нужны были ему две руки, а одна вдруг отказалась работать. А силой заставлять ее он боялся. Теперь, через столько-то лет, он хорошо представлял, как лежит этот острый треугольный осколок у него под сердцем и только и ждет подходящего случая, чтобы стронуться с места и острой гранью надрезать кровеносный сосуд... И ведь сколько раз собирался лечь в краевую больницу — не собрался. А теперь вот, когда беда настигла и, кажется, в самый неподходящий момент, поздно уже каяться и клясть себя. Впрочем, Сыромятин еще надеялся, что отпустит, полегчает через час-другой, а там, глядишь, и еще сколько-то времени он протянет, а там...

Почти всю работу одолел Ефим Петрович, наскоро приспособиваясь к каждому делу одной рукой. Осталось лишь снег расчистить — тропку к деревенской улице шире пробить. И вот здесь, зажав черенок лопаты под мышкой, он поднатужился, дернулся левой пособить и мягко осел в сугроб, потеряв сознание от боли. И как подхватил его Витька Романов, как в дом притащил и на кровать уложил, до смерти перепугав Степаниду Ильиничну, Ефим Петрович не помнил. Очнулся он, когда Витька Романов рассказывал: «А я это, значит, мимо еду. С рыбной базы. Соль им отвозил. И уже почти мимо вашего дома проскочил, когда вдруг раз — нога сама по тормозам ударила. Потом только понял, почему остановился... Подбегаю, а Ефим Петрович кулем в снегу лежит. Глаза у него закрыты, а главное — вроде как и не дышит. Это уж он потом, когда я его из снега потащил, застонал... А то ведь подумал я — помер дед Сыромятин».

«Цыц, дурак! Чего горланишь-то?» — хотел прикрикнуть на Витьку рассерженный Ефим Петрович, но лишь губами слегка пошевелил.

— Ты бы, Витя, за фершалом съездил, — где-то рядом с головой Сыромятина сказала Степанида Ильинична. — Пусть она ему лекарство какое пропишет или укол поставит.

«Эк, угораздило», — с сожалением подумал Сыромятин.

— Я счас, мухой летаю, тетя Степанида...

Витька хлопнул входной дверью.

— Ну, как ты, Петрович? — тихо спросила Степанида Ильинична, утирая платком испарину с его лба.

— Как видишь, — Ефим Петрович хотел иронично усмехнуться и не смог.

— А что болит-то у тебя, Ефимушка?

— Под левой лопаткой... Как в прошлый раз встряло, так и не отпускает.

— То-то я видела, что ты с лица сошел, а ничего не говоришь.

— Думал, отпустит...

— Не те годы, Петрович, когда брало и отпускало... Послушаться бы тебе меня да прилечь на полчаса, а ты пошел скорее управляться.

— Что теперь говорить...  
— И то верно... Сейчас Витька фельдшерицу привезет, она поможет.  
— Слышь, чего Нина мне говорит? — Ефим Петрович облизал пересохшие губы и покосился на Степаниду Ильиничну, сидевшую на табурете возле его изголовья.  
— Ну?  
— Говорит, как только Ванятку оженим, так она к нам переберется...  
— Тю-ю, — безнадежно махнула тяжелой, отечной рукой Степанида Ильинична, — это когда еще будет.  
— Я к чему это... В случае чего — одна не останешься.  
— Да ты что это, Петрович! — всполошилась Степанида Ильинична. — Ты это о чем говоришь-то сейчас? Подумаешь, он сознание потерял. Ноне и молодые в обморок падают, так что с того?  
— Осколок у меня там, вот чего, Степа...  
— Где? — прошептала Степанида Ильинична.  
— Под сердцем сидит, с войны еще...  
— Как — сидит? — ничего не поняла Степанида Ильинична.  
— Я когда в госпитале лежал, помнишь? Ну и вот... Я же тогда на осколочную мину нарвался. Хирург из меня семнадцать осколков повынимал, а этот, паразит, восемнадцатый, остался...  
— Почто так-то? Почто и его он не вынул? — охнула Степанида Ильинична.  
— Да больно глубоко он засел, надо было еще резать, дальше, а хирург побоялся, что не выдержу я, крови много потерял... Вот он и зашил меня с осколком... А потом, через месяц, снова резать хотел, да тут уже я не дался...  
— Так ты почему никогда мне об этом не говорил? — с удивленной растерянностью смотрела на мужа Степанида Ильинична. — Ты почему у меня такой-то, а?  
— Не хотел тебя расстраивать, Степа... Он же, ядрена-Матрена, в любой момент мог с места стронуться. Мне и хирург в госпитале об этом не раз говорил... Ты бы за меня переживала, боялась постоянно... А зачем? Хватит и того, что я про него никогда не забывал.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Что-то такое ему опять грезилось — долгое, приятное, из давно забытой и словно бы никогда не существовавшей юности. Вот они с Капой пришли в Новодевичий монастырь и бродят по древним плитам, и смотрят на державные надгробья, и галки с тополей шумной стаей улетают в сторону бывших Воробьевых гор. Ему, курсанту Высшего военного училища, не след бы разгуливать по территории бывшего монастыря, где на выдвинжных балках по указу Петра были повешены взбунтовавшиеся стрельцы. Но, с другой стороны, и славные военные страницы истории связаны с этим монастырем, и он, как человек военный, не может не оценить его удачного фортификационного расположения...

А Капу, слава богу, все это никак не заботит, и она только ахает от восторга, когда они находят очередное надгробие или каменный крест со знаменитой русской фамилией.

И светит солнце позднего осеннего дня, тревожно вызолотив маковки действующей церкви, из которой смутно доносится дружное, согласное песнопение вечерней службы. Они переглядываются, и он неопределенно пожимает плечами: мол, что поделаешь, сохранились еще пережитки старого мира, подают свои голоса...

И они уходят дальше, к той светелке, где ожидал Борис Годунов решения своей судьбы и мертвенно побледнел, увидев, как из Москвы идут к нему на поклон люди

разного сорта и звания, просят его не отказать, принять царствование и встать на престол Российский...

Иной фильм, с самым жутким и замысловатым сюжетом, порою кажется Викентию Изотовичу ближе и понятнее, чем своя собственная юность, прожитая более полувека назад.

А вот они уже на взгорье, недалеко от пивной бочки, вокруг которой, по случаю воскресенья, толпится народ. Он тоже протолкался к этой бочке, пахнувшей не то отсыревшим деревом, не то свежими огурцами, и, почти выхватив из чьих-то рук две пустые кружки, взял светло-желтое, с высокой шапкой пены, холодное пиво. Капа прямо на траве расстелила газету, села, вытянув полные в коленях ноги, и поджидала его. И когда он пришел, потный, разгоряченный борьбой за пивные кружки, как-то странно, снизу вверх посмотрела на него.

Позже она призналась, что именно в эту минуту окончательно полюбила его. А он никак не мог понять, да и теперь еще не понимает, как в те минуты можно было выделить его из многих — помятого, без фуражки, с мокрыми кружками пива в руках. Вот если бы в бою, когда он в кавалерийском седле, во главе своей роты, или, скажем, на военном параде, в конце концов — на учебном плацу... А пиво, оказывается, Капа раньше никогда не пила и, глотнув горьковатый напиток, изморщилась вся, надула щеки, не решаясь ни проглотить, ни выплюнуть этукую гадость. И глаза у нее такие большие и влажные стали...

Потом они долго смеялись и смотрели, как пролетают над ними маленькие спортивные самолетки, в которых можно было разглядеть сгорбившиеся фигуры летчиков в шлемах и больших круглых очках...

Вечером он провожал Капу. Она жила недалеко от Москвы-реки, и они еще полюбовались на проходящие баржи и пароходы, с палубы которых доносились то громкие детские голоса, то незатейливые переборы гармошки. Капа, в модной тогда беленькой матроске и короткой черной юбчонке, восхищенно смотрела на одиноких гребцов в весельных лодках и говорила ему, что хочет выучиться на радистку и поехать с экспедицией на Северный полюс. А он сразу же загрустил, уже не представляя своей жизни без нее. Она это заметила, повернулась к нему, привстала на цыпочки и впервые женские губы коснулись его щеки... И где бы потом он ни был: в Узбекистане, на Дальнем Востоке, под Брестом, несколько жутких часов в окружении, он всегда помнил это удивительное прикосновение ее влажных и горячих губ.

У ее дома он и сам уже осмелел, взял ее за руку и легонько пожал. Руки она не отняла, а лишь нахмурила густые, широкие брови. И он, заметив это, поспешно выпустил руку и начал прощаться, забыв условиться о новом свидании. Капа исподлобья удивленно взглянула на него — он хорошо запомнил, как стояла она на фоне серой громады дома в своей белой матроске, — и вдруг улыбнулась, от чего у него сразу так весело и хорошо стало на душе...

Какой-то посторонний шум насторожил Викентия Изотовича, и он мгновенно потерял все, что ему так сладко грезилось. Не сразу поняв причину шума, Куликов лишь одно почувствовал с полной определенностью, что теперь уже глубокая ночь. Потом до него долетели неясные голоса из прихожей, среди которых он выделил шипящий голос Евфимии. И сразу же усомнился — ночь ли теперь? И в это время в соседней комнате, где спал Костик, девятилетний правнук Куликова, тяжело, надсадно забили настенные часы: Викентий Изотович насчитал три удара.

Он не заметил, как распахнулась дверь и следом качнулись тяжелые портьеры, потому что лежал лицом к стене. Повернулся Куликов лишь на легкий шум шагов по скрипящему паркету и свистящий шепот внучки:

— Мой дорогой гросфатер! Ты меня простишь?

— Что такое? — растерянно спросил Викентий Изотович. — Что случилось?



— Ты ведь не спал, правда? — внучка, как и днем, села у него в ноги, и вскоре Куликов почувствовал острый запах спиртного, перемешанный с дымом сигарет. — Я этой богомолке говорю, что ты не спишь, а она не верит. Прикажи ей, мой генерал, чтобы она убиралась к черту!

— Да что такое?! — Куликов тяжело повернулся на спину. — С Костиком что-нибудь? И ключи, наконец, свет...

— Значит, ты не против? — Луиза в восторге хлопнула в ладоши. — Какой же ты у меня молодец!

Викентий Изотович сам потянулся к лампе и щелкнул выключателем. Луиза, в длинном вечернем платье, постукивая каблучками туфель, уже шла к двери.

— Дамы и господа! — громко сказала она, отшвыривая на стороны портьеры. — Прошу вас, проходите... А ты, моя милая кикимора, отправляйся спать и не суй свой нос в наши домашние дела. Понятно?

— Но, Луиза Юрьевна, — начала было возражать Евфимия, однако Луиза, крепко прихватив ее за плечо, твердо сказала: — Ступай, дорогуша, к Костику...

В комнату Куликова вошло человек пять — женщины и мужчины. Кажется, все они были немного смущены, но тут вернулась Луиза и весело представила деда:

— Мой grosфатер, генерал-майор в отставке... Мои друзья! Прошу любить и жаловать... И потерпите минуточку, сейчас мы организуем стол.

Куликов все еще ничего не понимал. Он беспомощно оглядывался на двери, но помощь в лице Евфимии на этот раз не приходила.

Минут через пять Луиза вкатила столик на колесиках, небрежно уставленный закусками и бутылками. Гости моментально разобрали высокие стаканы с коктейлем и пластмассовыми трубочками.

— Предлагаю всем выпить за здоровье моего бесценного grosфатера! — громко, пафосно объявила внучка.

— Луиза, я больше не могу, — пожаловалась какая-то дамочка, фигурой очень смахивающая на внучку. — Я пропущу, хорошо?

— Как хочешь, — равнодушно ответила Луиза.

Остальные приложились к пластмассовым трубочкам, с любопытством поглядывая на лежащего перед ними старика. И оттого, что старик молчал, что он еще и слова не проронил, медленно блуждая глубоко запавшими глазами по их лицам, они чувствовали себя не совсем уютно. Одна лишь Луиза, кажется, ничего не замечала, удобно развалившись в кресле и держа на отлете руку со стаканом.

— Мы были в ресторане, дорогой grosфатер, — наконец начала объяснять Луиза. — Отмечали Сережкину публикацию за рубежом, — она кивнула на высокого лысеющего мужчину в очках, сидевшего в кресле рядом с нею. — Он страшно талантлив, я тебе об этом говорила... Так вот, мы сидели в ресторане, пропивали его публикацию, и они вдруг говорят мне, что никогда не видели живого генерала. А я им отвечаю, что с детства досыта насмотрелась на них... Короче — изюм! Ресторан закрыли, а расходиться не хочется, я и предложила к нам завернуть. Заодно, говорю, и на генерала посмотрите...

Впрочем, вот она, — Луиза небрежно кивнула на дамочку, не пожелавшую пить, — вначале отказалась. Да и они засомневались — мол, поздно уже. В другой раз и так далее. А я им говорю, что другого раза может и не быть... Правильно, мой генерал? Ты ведь у меня — что надо! И на такие вещи смотришь реально. Я им это так и сказала... Тут уже Сережка напугался, а за ним и остальные пошли. Он же хочет о тебе очерк написать, помнишь, я тебе говорила об этом?

Викентий Изотович пошевелился, выпрастывая руки из-под одеяла. Когда он положил огромные, бледно-желтые, в частой сетке морщин кисти рук поверх голубенького пододеяльника, все заметили, что они у него мелко-мелко дрожат.

— Дедуля, тебе подушку поправить? — привстала из кресла Луиза. — Или еще одну принести?

— Не надо, — тихо ответил он.

— Сережа, — Луиза капризно придавила пальцем нижнюю губу, — потом ведь уже не спросишь.

Сережа поправил очки, оглянулся на товарищей и наконец решился:

— Извините, товарищ генерал, в каком роде войск вы служили?

Луиза, перехватив взгляд Куликова, подмигнула ему: мол, смотри, дорогой гротфатер, каков наш Серега — сразу быка за рога берет.

— Луиза Юрьевна говорила, — все более оживляясь, продолжал Сергей, — что вы воевали еще с Врангелем? Крымский полуостров освобождали...

— Да, воевал... В Первой конной.

— У самого Буденного? — спросили сразу несколько голосов.

— Именно, — Викентий Изотович глубоко вздохнул и спросил: — Который теперь час на дворе?

— Половина четвертого, — ответил Сергей. — Вы извините нас, ради бога...

Мы, конечно, порядочные свиньи... Но мы, так сказать, исполняем волю Луизы Юрьевны.

— Ну что ты, Серега! — вспыхнула внучка. — Ему ведь скучно здесь одному. Целыми сутками с глазу на глаз с нашей кикиморой... Да он знаешь как рад, что вы пришли, что есть с кем поговорить... Ведь ты правда рад? — повернулась она к Куликову и вдруг перешла на шепот, воровато оглянувшись на дверь: — А хочешь, мы и тебе немного нальем? Коньяка? Армянского? Хочешь?

Все в комнате притихли, выжидающе глядя на него.

«Неужели я все еще похож на человека, который в состоянии выпить стопку коньяка? — озадаченный Куликов обвел компанию молодых людей тусклым взглядом и впервые пожалел, что поторопился с выпиской из госпиталя. — Или же она просто издевается надо мной? Но зачем? С какой целью?»

— Ну же, дедуля! Ведь есть еще порох...

— Что же — будь по-твоему, — он сильно потер тыльной стороной ладони раздувшийся шрам. — Только, извините, мне бы халат надеть...

— Дедуля! — Луиза, словно кошка, вспрыгнула коленями на его постель и горячо расцеловала Куликова. — Я знала, что ты у нас еще хоть куда! Ну, просто изюм!

— Хорошо, хорошо, — вяло отстранился от ее ласк Викентий Изотович. — Подай мне лучше халат.

Под дверью кабинета Куликова поджидала Евфимия. Печально и строго глядя на него узкими глазами, она с упреком спросила:

— Зачем вы ей это позволяете, Викентий Изотович?

— А что делать, голубушка? — он беспомощно развел руки. — Они люди молодые, да и мне, признаться, что-то не спится.

— Но ведь вам нельзя волноваться, Викентий Изотович... Как хотите, но я сейчас же позвоню Елене Викентьевне...

— Нет-нет! — испугался Куликов. — Ни в коем случае! Мы и Луизу поставим в неловкое положение перед друзьями... Она же, — Викентий Изотович слабо улыбнулся, — привела их на живого генерала посмотреть. Пока — живого... Ну и пусть смотрят — с меня не убудет... А ты, Фимушка, голубушка моя, ступай-ка отдыхать и ни о чем не беспокойся.

— Как же — не беспокойся, — проворчала Евфимия, сердито заглядывая в его комнату, где сидели и о чем-то оживленно переговаривались молодые люди. — Ведь это же додуматься надо, людей среди ночи в дом привести, да еще к больному

человеку... Нет, я это отказываюсь понимать, — она пожала плечами и неохотно скрылась в детской, где стояла ее тахта.

Возвращение Викентия Изотовича, тяжело опирающегося на деревянную трость, было встречено глубоким, дружным молчанием. Даже Луиза притихла в своем кресле, прижав указательный палец к пунцово-красной нижней губе. Высокий, невероятно худой старик с острыми, костистыми плечами и тяжелыми кистями рук, пергаментно желтеющими при свете настольной лампы, произвел сильное впечатление. При его появлении в комнате запахло валерьянкой, и, кажется, все это почувствовали...

— Как хотите, — приподнялась со своего места Вера, маленькая, изящная брюнетка с красивым, нервным лицом, — а мне пора домой.

— Сидеть! — не поворачивая головы, коротко приказал Сергей Воротников. — Пойдем все вместе. Луиза? — он вопросительно уставился на нее круглыми, увеличенными стеклами очков глазами.

— Все хок-кей! — безмятежно уверила Луиза. — Можешь спрашивать...

Медленно, тяжело опустившись на постель, Викентий Изотович справился с дыханием и обвел компанию молодых людей ироничным взглядом. Он наконец окончательно успокоился, смирился с этой, казалось бы, невозможной ситуацией и твердо решил выдержать все до конца.

— Итак, — сказал Куликов, останавливаясь взглядом на продолговатом, с тяжелой нижней челюстью лице Сережи Воротникова, — что вы хотели узнать? Каков был род войск? После Высшего военного училища я носил эмблемы с изображением меча и щита... Что еще?

Все притихли. Даже Сережа Воротников был в явном замешательстве, бросив на Луизу короткий, выразительный взгляд. Впрочем, Викентий Изотович подозревал, что внука понятия не имеет о том, где на самом деле служил ее дед.

— Э-э, простите, товарищ генерал...

— Лучше будет, — перебил Воротникова Викентий Изотович, — если вы меня будете называть по имени и отчеству.

— Да, конечно... А вот интересно, Викентий Изотович, где вы получили такой шрам? — спросил вновь уверенный в себе талантливый Сережа Воротников. — Если, конечно, это не секрет?

— Да нет тут никакого секрета, — помедлив, ответил Викентий Изотович. — Обыкновенная стычка с басмачами...

— Гросфатер служил тогда в Узбекистане, — вмешалась в разговор Луиза, не выпуская пластмассовую трубочку из уголка рта. — И они гонялись там за одной знаменитой бандой. А потом главарь этой банды вызвал командира нашего отряда на переговоры. Гросфатер и пошел. Один, без оружия... Я правильно говорю, дедуля? Вот видите, я всю эту историю знаю от бабушки даже лучше его самого. Он уже детали забывает, а я помню, что ему предложили спрятать под мышкой маленький браунинг. На всякий случай. А он отказался. Гросфатер был настоящий герой. Его сам Буденный именными часами наградил... Вот он один и безоружный пошел...

— Зачем же? — напрягшись нервным лицом, тихо спросила брюнетка Вера.

— Да, какая в этом была необходимость? — поправил очки на крупном носу Сергей Воротников.

Луиза выпустила соломинку изо рта и отхлебнула светло-коричневый коктейль прямо из стакана, губами отталкивая расплавившиеся кубики льда. Куликов терпеливо ожидал, что ответит внука на этот вопрос.

— Людей хотели сбечь, — сказала Луиза и вдруг сладко зевнула, прикрывая рот растопыренными пальцами правой руки. — Там слух такой прошел, что главарь склоняется к сдаче... А на самом деле такой слух специально распустили... Да, дедуля? Вот он и пошел... Сошлись они с бандитом у колодца и начали до-

говариваться. Бандит подлый оказался. Я, говорит, тебе всю свою банду сдам, а ты меня, моих жен и двух слуг — отпусти. Дай нам за кордон к братьям уйти, а с бандой что хочешь, то и делай... Так ведь, грошфатер?

— Ну и отпустили бы его, — опять вмешалась Вера. — Пусть бы уходил...

— Это после того, как он там сотни людей вырезал? Всю округу в страхе держал? А золота сколько награл! Нет, мой грошфатер и слушать его не стал. Тогда этот бандит выхватывает из-под халата кинжал и бросается на деда. Так ведь было, дедуля? Кинжал этот у грошфатера до сих пор хранится...

— Повезло, что бандит огнестрельное оружие не припрятал, — глубококомысленно заметил талантливый Воротников.

— Зачем же, зачем было доверять этим бандитам? — прошептала Вера.

— Вечный долг гуманистов, — с усмешкой сказал некто с бородкой, круглолицый и рябой, до сих пор хранивший упорное молчание.

— Мы такие, — усмешливо поддержала его пышненькая блондинка.

— А, извините, на кинжал этот можно посмотреть? — спросил Сергей Воротников, обращаясь к Куликову. Глаза у Воротникова азартно блестели, нос под дужкой очков вспотел — Сережа выходил на тему.

— Пожалуйста, — Куликов кивнул Луизе: — Там, в верхнем ящике стола.

Луиза поднялась и со стаканом в руке прошла к письменному столу. Выдвинув ящик, небрежно стала рыться в нем, шуруша бумагами.

— В правом углу, между папками: красной и зеленой, — подсказал Куликов.

— Много бы я дал, — мечтательно заговорил Воротников, облизывая сочные губы, — чтобы посмотреть содержимое этих папок: красной и зеленой.

— Ничего особенного вы в них не найдете, — со скрытой усмешкой ответил Викентий Изотович. — В красной папке письма моей жены, в зеленой — мои письма... Сугубо личного характера, написанные высоким слогом, каковой вы, нынешняя молодежь, не одобряете.

— Зеленый цвет вашей папки, видимо, неслучаен? — спросил некто с бородкой клинышком.

Сережа Воротников что-то усиленно соображал, барабанил короткими, сильными пальцами по подлокотнику кресла. Взгляд его затуманился и стал отсутствующим.

— Вот этот кинжал, — вернулась на свое место Луиза и вдруг с упреком спросила Куликова: — А ты мне про письма ничего не говорил?

— Это дамаская сталь? — спросил дотошный Сергей.

— Нет, не дамаская, — Викентий Изотович почувствовал усталость, но скрыл ее за иронической усмешкой.

— А бандит, надо понимать, понес заслуженное наказание? — спросил некто с бородкой клинышком и внимательно-зоркими глазами.

— Представь себе, Стасик, — ответила Луиза, — ему удалось бежать... Вместе с женами и слугами.

— Органы оказались не на уровне? — насторожился Стасик.

— В отряде скрывался предатель... Да, дедуля? Он выдал маршрут отряда, и этот бандит ускользнул.

— И у красного командира были большие неприятности? Или спасли именные часы? — это уже пышненькая блондинка спрашивала.

— Ну, вы! — нахмурился Сережа Воротников. — Нашли, где в остроумии изощряться...

— Простое человеческое любопытство, разве нельзя? — удивленно подняла выщипанные брови блондинка. — Тогда извини.

И она уже более не заговаривала до конца визита, внимательно слушая и изредка переглядываясь со Стасом.

— А вот случай, самый главный случай в вашей жизни, о котором вы помните всегда — был у вас такой? — Воротников жадно, в упор, разглядывал Куликова, слегка приоткрыв губастый рот.

— Может, когда вы банду Королева в Амурской области захватили? — напомнила Викентий Изотовичу внучка. — Ты говорил, там все очень сложно было: тайга, родственники на той стороне и у нас...

— Почему ты мне никогда об этом не рассказывала? — Сережа Воротников удивленно посмотрел на Луизу.

— Банда Королева? — Викентий Изотович слегка поджал губы. — Да, это был тот еще орешек... Но это совсем не то, о чем он спрашивает.

Испуганно-восхищенными глазами смотрела на Куликова нервная Вера.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дверь внезапно распахнулась. Все вздрогнули и оглянулись. Луиза побледнела. На пороге, сонно щурясь на свет, стоял Костик. Был он в короткой ночной рубашке, со слегка прикушенной нижней губой: мальчик был удивительно похож на мать.

— Костик, дорогуша, что с тобой? — испугалась Луиза. — Ты не спишь?

— Как видишь, — хмуро ответил Костик, обводя рассеянным взглядом всех присутствующих в комнате.

— Но ты, Костенька, босой, — Луиза была явно растеряна. — Ты простудишься, мой маленький...

— Ну и что? — с вызовом ответил Костик, переступая смуглыми мальчишескими ступнями. — Ты нам спать не даешь, я бабушке пожалуюсь.

Луиза на несколько мгновений потеряла дар речи. Некто с бородкой, Стасик, поднялся, вслед за ним поднялась и полноватая блондинка. Стасик церемонно поклонился Викентию Изотовичу. И лишь нервная Вера бросилась к Костику, обняла его, затормошила и усадила в кресло.

— Могу ли я надеяться? — поднимаясь, спросил Сережа Воротников.

— Вряд ли, — сухо ответил Викентий Изотович и уточнил: — Вряд ли мы с вами еще раз встретимся... Вы уж извините старика.

— Но мне и надо-то — минут двадцать-тридцать... Спросить вас о самом важном, — не отступил настырный Воротников.

— Сережа, миленький, потом! — замахала на него руками Луиза.

— Я не прощаюсь, — многозначительно сказал Воротников, раздосадованно уходя из комнаты.

Луиза поспешила за ним.

— Деда, ты почему не спишь? — спросил Костик, перебираясь из кресла на его кровать. — Они тебе не давали, да?

— Кто тебе сказал? — удивился Викентий Изотович.

— Бабушка Ефимия... Она мне велела к тебе пойти.

— Смотри, — встревожился Куликов, — маме об этом не говори... Хорошо?

— Хорошо. А это что за финак?

— Осторожно, Костик... Это — кинжал. Видишь, у него на рукоятке орнамент. Его мне в Узбекистане подарили.

— Еще при царе, что ли? — Костик лежал на спине и разглядывал клинок.

— Да нет... После него уже.

— А ты мне его подаришь?

— Возможно... Но только не сейчас.

— Почему?

— Ты еще маленький.

— Мне уже девять лет, скоро десять будет.

— Вот еще немного подрастешь, — Викентий Изотович потянулся, чтобы потрепать мальчишку по темно-русым волосам. Однако от ласки Костик ловко увернулся и обиженно спросил:

— Когда ты помрешь, да?

Викентий Изотович озадаченно пожевал губами, не в силах сообразить, что ответить на это внуку. Наконец, тяжело справляясь со словами, сказал:

— Я записку оставлю, чтобы кинжал тебе отдали.

— А записка потеряется, — недоверчиво протянул Костик, внимательно глядя в деда.

— Не потеряется.

— Ты ее тогда мне отдай, — сообразил внук. — Я ее у себя в столе запрю. Отдашь?

— Отдам...

— Костик, миленький, — заглянула в комнату Евфимия, — ступай ко мне.

— Зачем?

— Тебе спать пора.

— А я не хочу-у, — капризно протянул Костик.

— Как же — не хочешь, — растерялась Евфимия. — Дедушке пора спать. Он устал...

— Деда, ты устал?

— Поздно уже, — тихо ответил Викентий Изотович. — А тебе завтра в школу рано вставать.

— Ладно, — внук не без сожаления протянул кинжал деду. — А можно, я иногда буду играть твоим финаком?

— Можно...

Когда Евфимия увела внука и Викентий Изотович остался один, он еще какое-то время сидел без движения на своей постели, обессиленный всем произошедшим в эту ночь. Потом ему показалось, что в комнате душно, буквально нечем дышать от запаха водочного перегара и дыма сигарет. Тяжело, всем телом наваливаясь на трость, Викентий Изотович поднялся и, шаркая ослабевшими ногами, пошел к форточке.

Сдвинув портьеру, он прислонился горячим лбом к прохладному стеклу и увидел возле парадного подъезда внуку и Сережу Воротникова. Они сидели на скамейке и курили. Сережа — в кожаном пальто, тускло блестящем в свете уличного фонаря. Луиза — в коричневой куртке с капюшоном. Они сидели очень близко, и когда Луиза сильно затягивалась сигаретой, освещалось не только ее лицо, но и лицо Сережи Воротникова, спрятавшего тяжелый подбородок в воротник пальто.

Мокро серел асфальт, мотали лохматыми ветвями маленькие, худосочные деревца, с шипением проносились редкие машины, разбрызгивая воду из небольших луж. И ото всего этого стало вдруг на душе у Викентия Изотовича так гадко и тревожно, так нехорошо стало, что он поспешно потянулся к форточке, толкнул ее от себя, боясь лишь одного, что не успеет дойти до постели, перепугает Евфимию...

«Что у них на душе и что за душой? — тревожно думал он, уже лежа в постели с выключенной настольной лампой. — Чем они живут? Чему поклоняются? Внука вот... Росла такой развитой, сообразительной... В пять лет уже играла с ним в шахматы. И пусть шутя они играли, но ведь все фигуры и ходы она уже знала. В десять лет начала стихи писать, и, наверное, неплохие, если их в «Пионерской правде» печатали. Юнкором у них была... А потом, как только вошла в гормональную фазу развития, — куда что подевалось. Уже на втором курсе университета

вышла замуж. Костик родился — чуть было учебу не бросила. Только Евфимия и спасла ее от этого шага, взяв все заботы о младенце на себя. У Луизы даже своего молока для ребенка не оказалось...»

Куликов постепенно погружался в свое любимое забытье, и мысли его становились все отрывочнее, а вскоре он уже опять увидел себя в Коломенском, куда поехали они вместе с Капой и должным образом последышем пятилетним Володей. А это уже был июнь тысяча девятьсот сорок первого года. Самый канун войны. Не прошло еще и года, как его перевели с Дальнего Востока поближе к «театру возможных военных действий». И Викентий Изотович, на свежий взгляд и нюх, как любил сам выражаться, очень хорошо почувствовал этот возможный театр, и даже не возможный уже, а вставший вплотную, на расстоянии вытянутой руки...

Теплый, солнечный день, один из тех, какие после войны Викентий Изотович уже не помнил. Глубокая синева небес, игрушечные белые, кучевые облака, между которыми частенько пролетали самолеты, выделяющие порой такие чудеса, что у людей на земле дух захватывало. Ровный, теплый ветер с полей. Белый дым над дальней опушкой леса: рабочие проводили санитарную рубку и теперь сжигали порубочные остатки.

— А помнишь, — говорит Капа, — ты мне пиво в кружке принес? Я тогда первый раз попробовала пиво и меня от него чуть не стошнило...

— Это было возле Новодевичьего монастыря.

— Да... Больше десяти лет назад. И мы еще были не женаты.

— Разве мы когда-то были не женаты? — шутливо удивился Викентий Изотович.

— А почему птички дерутся? — спросил Володя, удивленно разглядывая голубей.

— Они не дерутся, — смущенно ответила Капа и потянула сына за руку.

В воздухе летали разноцветные шары, играл духовой оркестр. И под бравурную музыку оркестра они решили, что Капа останется пока в Москве. Капа, Леночка и пятилетний сын Володя, сосредоточенно разглядывавший сейчас ползущего через тропинку жирного дождевого червя...

— Мой дорогой генерал, — он ощутил на щеке прикосновение горячих губ и очнулся, — ты еще не спишь?

— Черт возьми, Луиза! — вырвалось у него.

— Гросфатер! — удивилась Луиза. — Да ты просто молодец... А я каяться пришла — больше не буду! Прости, ага?

Вспышка раздражения прошла, и Викентий Изотович уже спокойно спросил:

— Проводила?

Внучка, как-то странно сгорбившись, сидела в кресле у его изголовья. В руках у нее уже опять был высокий стакан с той отвратительной бурдой, которую она называла коктейлем.

— Он хочет на мне жениться, дедушка, — и тон у нее был такой, словно бы она жаловалась на это обстоятельство.

— Тебе уже далеко за тридцать, — напомнил Викентий Изотович, отрешенно глядя в потолок.

— Сегодня это значения не имеет...

— Прости, Луиза, а что имеет?

— Квартира, это в первую очередь. Потом связи, работа...

— А на каком же месте у вас любовь? — перебил удивленный Куликов.

— Ты думаешь, она есть? — внучка оживилась. — Ты до сих пор не хочешь признать, что люди этим словом называют обыкновенное физиологическое влечение двух разнополых особей? Гос-споди, какая прелесть! Ты у меня, дедуля, просто изюм... У птиц и животных это называется брачной порой или временем

спаривания. Но ведь и эту ерунду придумал для них человек. Сам-то он брачную пору растянул на полный календарный год. Он извратил саму природу и назвал это — любовью... Тогда как все животные и птицы, спаривающиеся на всю жизнь, а не сезонно, делают это только потому, что им иначе не вырастить свое потомство... Ну и о какой любви ты говоришь, мой мудрый генерал?

— Уже очень поздно, — тихо напомнил Викентий Изотович.

— Неужели ты спишь по ночам? А я думала, что все старики страдают бессоницей...

— Луиза Юрьевна, — неожиданно раздался спокойный голос Евфимии, — я сейчас буду звонить Елене Викентьевне.

— Ладно тебе, не пугай, — устало отмахнулась внучка.

— Я не пугаю... Я просто иду звонить.

— Ну, все, — Луиза тяжело поднялась. — Ухожу, ухожу я уже... Вот тоже, не дадут с родным дедом поговорить.

— На это есть день.

— Днем я на работе.

Внучка пересекла комнату, но у самого порога вдруг остановилась и жалобно спросила:

— Так что же мне делать, дедуля? Выходить за него замуж или нет?

Куликов промолчал, так как побоялся, что Луиза втянется в новый бесконечный разговор. А сил на такой разговор у него уже точно не было...

Минут через десять щелкнул выключатель в комнате внучки и наконец-то все в доме стихло. Викентий Изотович знал, что теперь ему точно не заснуть, и потому приготовился тяжело и томительно переживать часы, оставшиеся до рассвета.

В памяти мелькали отдельные фразы внучки, ее освещенное вспышкой сигареты лицо, мокрый асфальт и ледяные струи брызг из-под колес машин. Потом Костик с кинжалом в руке, его испытывающий и тревожный взгляд: «А записка потеряется...» Евфимия, с горестно сомкнутым ртом, и вдруг на секунду, но необычайно ясно и отчетливо — лицо... Очень знакомое мужское лицо крупным планом. Чье? Где и когда он видел эти небольшие, внимательные глаза? Кажется, серого цвета... Маленький, круглый рот под рыжеватой щетиной усов. Морщинки в уголках глаз и вдоль средних размеров лба. А вот волосы никак не разглядеть под глубоко надвинутой пилоткой... Интересно, при чем здесь пилотка? И тут же — внезапное озарение! Да как же можно было не узнать? Ведь он о нем вспомнил еще в тот момент, когда Воротников спросил о самом памятном случае в его жизни...

На закате солнца тяжелая артиллерийская бригада прервала марш и поспешно заняла огневую позицию. Первый и третий дивизионы свернули с большака направо, под прикрытие небольшой высоты. Второй дивизион остановился на левой стороне большака. В степи как-то особенно мирно и даже уютно пахло мятой и чабрецом. Стремительно взвился жаворонок и беззвучно завис в высоком небе. «Окопы рыть в полный профиль! — передали приказ генерала. — Ждать налета фашистской авиации и боя с танками».

Позади уже были освобождение Орла и Белгорода, разгром фашистов на Курской дуге. И вот теперь тяжелая гаубичная бригада, к которой был прикомандирован Куликов, принимала участие в наступлении советских войск.

«Окопы рыть в полный профиль!» — подхватил команду командир огневого взвода Санбеков и вопросительно взглянул на стоявшего рядом Куликова. Викентий Изотович посмотрел на часы, привычно сверился с солнцем, уже коснувшимся нижней расплавленной кромки горизонта, и согласно наклонил голову. В принципе, согласия от него не требовалось, и даже не нужно оно было Санбекову, но



младший лейтенант проявил чисто уставную этику — рядом с ним находился старший по званию офицер. Санбеков быстро распределил обязанности между расчетами, скинул гимнастерку и, поплевав на ладони, с хрустом вонзил лопату в жирный чернозем. Примеру офицера последовали солдаты.

Трудилась батарея дружно, истово, все глубже зарываясь в землю и постепенно обретая твердое чувство защищенности. В общем, все было в порядке, и Куликов сам не без удовольствия поработал на сооружении штабного блиндажа.

Стемнело быстро. Окопавшись, солдаты наводили порядок: готовили ровики для личного состава, углубляли ниши для снарядов, занимались оборудованием блиндажей. Подоспела полевая кухня. В ночном воздухе вкусно запахло кашей, перегоревшими дровами, тут же зазвенели котелки, и славяне подались к кашевару.

Викентий Изотович к тому времени был уже слишком опытным командиром, чтобы перед предстоящим крупным боем довериться лишь беглому осмотру местности. Донесения разведки и наблюдателей были предельно подробны, но он привык вырабатывать свое собственное ощущение обстановки и затем всецело полагался на него, не раз и не два выручая дельными советами командиров во время боя...

Осторожно, часто останавливаясь, слушая обманчивую ночную тишину, Куликов где ползком, а где на четвереньках, продвинулся вперед метров на двести и залег в высокой траве у самого изножия высоты. Впереди, за высотой, находились вражеские позиции. Велика была вероятность напороться на немецких разведчиков и тем не менее Куликов выдвинулся вперед еще метров на сто пятьдесят. Теперь уже и голоса вражеские он смутно различал, да и обзор у него был значительно лучше. Закусив травинку, Викентий Изотович внимательно изучал окружающую местность, насколько это позволяла ныряющая в облаках ущербная луна... Внезапно у себя за спиной он услышал неясный шорох.

Затаив дыхание, Куликов различил метрах в двадцати от себя чью-то темную фигуру. Человек, видимо, ничего не подозревал, а потому и вел себя довольно свободно. Он привстал на коленях, вглядываясь в сторону вражеских позиций, и так простоял довольно долго. Потом, видимо в чем-то убедившись, пополз дальше, и, когда оказался буквально в двух метрах от Куликова, он, с пистолетом в руке, коротко скомандовал: «Руки вверх!» И, подстраховываясь на всякий случай, повторил по-немецки: «Хенде хох!» Человек растерялся и непонимающе уставился на дуло пистолета, потом поднял глаза и вздрогнул: «Товарищ подполковник?» «Не ожидал?» — усмехнулся Куликов, забирая у него оружие. — «Товарищ подполковник, я же хотел...» — «Потопали назад, а там разберемся, чего ты хотел на нейтралке», — оборвал его Куликов...

И вот в полутемном блиндаже сидит напротив Куликова невзрачный с виду солдатик с нашивками старшины. Сидит и упрямо смотрит в землю, комкая в руке пилотку. Викентий Изотович внимательно разглядывает его и задает первый вопрос:

— Фамилия?

— Так, это самое, Сыромятин, — испуганно отвечает старшина.

— Полностью скажите...

— Сыромятин Ефим Петрович.

— Где служите?

Сыромятин поднимает вопросительный взгляд.

— Номер части? Кто ваш командир?

— Младший лейтенант Санбеков, командир шестой батареи...

— Ваша должность?

— Старшина батареи, товарищ подполковник! — Сыромятин вскидывает голову и вопросительно смотрит небольшими, встревоженными глазами.

— Что вы делали на нейтральной полосе?

— Я, товарищ подполковник, хотел обстановку уяснить, — торопливо сообщил старшина. — Чтобы, значит...

— Кто вас послал? — резко перебивает Куликов.

— Меня?

— Да, вас! Кто вам разрешил покинуть расположение батареи для выяснения обстановки?

— Так ведь я, ядрена-Матрена, хотел...

— Значит, Санбеков вас не посылал?

— Не-ет, — неуверенно протягивает Сыромятин.

— Понятно... Значит, вы ушли самовольно, правильно?

— Дак, это...

— Отвечайте на вопросы: да или нет?

— Да.

— И направлялись в расположение противника... С какой целью?

Сыромятин побледнел и заметно испугался. Это Куликов понял сразу. Он почти с самого начала, когда разглядел старшину в блиндаже, проникся к нему доверием, хорошо понимая, что для перехода на вражескую сторону сейчас был не самый подходящий момент. Но это понимал Куликов-человек, а вот подполковник Куликов обязан был выяснить мотивы такого поступка. Он должен был удостовериться в том, что сидящий перед ним старшина не перебежчик, не вражеский шпион, вышедший без ведома командира на нейтральную полосу для передачи стратегических сведений...

— Если не командиру, то кому-то из товарищей вы сообщили, что уходите на нейтралку?

— Да зачем же я буду их беспокоить? А вдруг ничего особого не примечу...

— Как же вы теперь будете доказывать, что не собирались к врагам с донесением о намерениях нашего командования?

— Товарищ подполковник, — опешил Сыромятин, — да разве можно? Я ведь хотел как лучше, чтобы наша батарея не билась вслепую... А ну, кабель с НП осколком перебьет, вот вам и конец связи с начальством...

— Почему же не доложили командиру?

— Я думал...

— Дурак! — не выдержал Куликов, сдвигая в сторону гильзу-светильник и переходя на ты. — Дурак ты, Сыромятин, вот что я тебе скажу... Попал, как кур во щи. Кому ты теперь докажешь, что не драпал к фашистам? И кто тебе поверит? Завтра утром я тебя отправлю в отдел, ты думаешь — там поверят? Ты же к врагам уходил, понимаешь, и если бы не я...

— То я уже давно вместе со всеми спал на батарее, — тихо пробурчал Сыромятин.

— А ты это докажи!

— Спросите Санбекова...

— Кого надо — мы спросим... Но твое положение, старшина Сыромятин, прямо скажем — хреновое... Ведь я просто обязан взять тебя под стражу. Иначе у нас не война получится, а богадельня. Тебе это понятно? И думай, Сыромятин, всю ночь сиди и думай, как тебе свой поступок объяснить.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На следующий день Ефим Петрович не встал. Он было попробовал сорваться с постели, но едва спустил ноги на пол, как его такая острая и беспощадная боль ударила под лопатку, что он даже стон сдержать не сумел. Степанида Ильинична,

заслышав из кухни этот стон, осерчала не на шутку и строго приказала ему, чтобы и не думал подниматься.

Упав на подушку и обессиленно глядя в низкий потолок глубокими от боли глазами, Сыромятин почувствовал на подбородке чье-то теплое, бегущее прикосновение. Шоркнул по этому месту рукой — мокро... Поднес руку к глазам — кровь. И сразу успокоился в отношении того, что лежит он в постели, а скотина не кормлена, двор не метен, сено из стога не подвезено. Беспокойно пошарил рукой в поисках какой-нибудь тряпицы, чтобы Степанида Ильинична ничего не заметила. Ей волноваться тоже никак нельзя, иначе проклятый ревматизм в стельку уложит. И, успокаивая жену, Ефим Петрович, как мог буднично и спокойно, спросил:

— Фельдшерница-то утром обещалась быть?

— А как же — непременно прибежит, — ответила Степанида Ильинична, стряпавшая за кухонным столом пирожки с капустой и картошкой.

— Ну и ладно, — вздохнул Сыромятин. — Полежу тогда до нее.

— Полежи, родненький, полежи, — совсем уже успокоенно откликнулась жена.

— Только вот со скотиной как же? — Ефим Петрович выудил из кармана штанов носовой платок и тщательно, с паузами, утерся.

— А что со скотиной? — притворно удивилась Степанида Ильинична. — Ванятка сейчас объявится и все сделает... Пусть у тебя голова об этом не болит.

— На Ванятку твоего надежа...

— Это он ленивый, пока не приспичило. Они, молодые, нынче все такие-то вот... А теперь куда деваться — поможет. Вчера грозился даже отпуск без содержания выпросить. Да только на что он ему, отпуск этот? Он и в добрые-то времена не перетруждался, а теперь и подавно: освобожденный комсомольский секретарь. Сам, поди, помнишь, какая у них там работа...

— Какая-никакая, а работа есть работа... Тем более что теперь он на виду, — совсем не согласился с супругой Сыромятин.

— Летом-то куда с добром, — вздохнула Степанида Ильинична. — Выгнал скотину со двора, вот и вся забота. Там и наедятся, там и воды попьют... Ну, да ничего — справимся. Слава богу, не одни на свете живем.

— Слышь, мать, а когда Петр в отпуск собирался? — вроде бы равнодушно спросил Ефим Петрович.

— Да кто его знает, — не сразу, с едва заметной дрожью в голосе ответила супруга. — Как дадут, так и объявится...

— Ты, Степанида, понимать должна, — построжал голосом Ефим Петрович, — не шутки мы с тобой шуткуем — живем. А раз живем, то и понимать должны, что всякое с нами может случиться. Тем более, как ты сама давеча заметила, в нашем-то возрасте...

— Ты это к чему? — затаила дыхание Степанида Ильинична.

— К тому, — нахмурился Сыромятин, — что надо бы Петру обо всем сообщить. Так, мол, и так... Ничего пока страшного, но ко всему готовым надо быть... Понятно?

— Дак, если пока ничего страшного...

— Степа, — обмяк голосом Ефим Петрович, — или ты не понимаешь?

— Гос-споди, еще вчера бегал как молодой, — Степанида Ильинична вновь принялась раскатывать тесто, — а нынче что городишь?

Они умолкли, хорошо понимая друг друга без слов: случилась именно та самая оказия, которой они всю жизнь боялись и ждали которую — тоже всю жизнь. Впрочем, нет, ожидание это началось с войны, а как началось, так уже и не кончалось никогда.

Да и шутка ли, если две похоронки получила Степанида Ильинична на мужа, и дважды помирала сама, и померла бы, это она знала точно, если бы не дети подле

нее — Петя с Ниной. Под первую похоронку, летом сорок третьего года, Ниночке уже десять лет сравнялось, а вот Пете — только семь. Куда они без нее, малые-то? Кому они в те голодные и разутые времена ко двору бы пришли? Нет, стиснула Степанида Ильинична зубы и дальше жить пошла... Нинка-то, большевичка уже (три класса одолела, по тем временам — почти грамотей), помогать ей на ферме начала: сено или солому там по кормушкам разнесет, ведро с молоком к флягам оттаргантил да еще и на риски молокомера посмотрит — сколько, дескать, мама сдала. А там, глядишь, вымя коровам подмоет, а то и сама за щипки тягать возьмется, пока она, Степанида Ильинична, уже тогда немевшие пальцы разомнет. Правда, больше одной коровки одолеть еще не могла — ручки слабые, а потому корову додаивать приходилось, чтобы не запустить, а все одно помощь...

В другой раз и Петенька с ними увяжется, и тоже в помощники просится. Возьмет вилы, подцепит клок соломы, а поднять не может, тогда пятится по проходу и этот клок волоком до яслей доставит. Иногда шумит она на них, мол, шли бы гулять на дворе. А какое там гулянье? В войну морозы страшные стояли, долго на улице не сдуть, да еще и в одежонке абы какой... Зато и радости же в доме было, когда почтарька Парушка письмо, из госпиталя писанное, принесла. Открыть тот солдатский треугольник она добрый час не решалась. Почерк-то, видит, его, а что там внутри — бог его знает. Но сердце-то чуяло, душа-вещунья подсказывала: жив! Она и похоронке-то вроде бы поверила, убивалась после нее, а вот на самом-самом доньшке сознания жила вера, теплилась: попал в окружение, а то и к партизанам вышел...

Радоваться в те времена всем миром умели, впрочем, как и горевать. Пошла она со своим треугольником из дома в дом, понесла радостную весточку. А как же иначе? Похоронка за годы войны не одной ей пришла. И сколько бабьих глаз засветилось надеждой в тот день, и сколько новых сил для жизни прибавилось — кто измерял?

Конечно, в семье не без уroda... Зашла к Татьяне Лукиной, а та на порог ее не пустила. Что, мол, по дворам таскаешься? Зачем минувшее бредишь? Отболело, мол, и ушло, а ты тут со своим треугольником... Гос-споди, не вспоминать бы, да куда от памяти денешься: взяла уже Танька, успела, мужика-татарчонка к себе в примачи. Ну, да бог ей судья...

А и письмишко-то было — две строки на полстраницы в клеточку. «Степушка, родная моя! Жив я. Потом все подробно опишу. Береги детей. Сама берегись. Поклон всем сродственникам и односельчанам. Твой Ефим». Вот и все письмо. Оно до сих пор у Степаниды Ильиничны хранится. Совсем пожелтел тетрадный листок, истерся на сгибах, а нет дорожке документа для нее... Вторая похоронка — через полтора года пришла. Парушка, пока сугроб напротив их дома переваливала, два раза упала. А Степанида Ильинична возьми и подумай: тяжела, мол, ныне у нее почтовая сумка. И если бы знала она в ту минуту, ведала, как и в самом деле давила Парушкино плечо эта распроклятая сумка со стандартным бланком похоронки на Ефима Петровича Сыромятина. И как увидела Степанида Ильинична виноватые Парушкины глаза, так сразу и торкнулось ей в сердце: на этот раз — правда... И поверила. А как было не поверить? Даже на самом-самом доньшке не было теперь веры в чудо.

Второй-то раз? И опять ошибка? Больше половины мужиков из их села с первого раза поубивало, с первого и — навсегда, а тут... Нет, надеяться ей в этот раз было не на что. И загоревала-затосковала Степанида Ильинична так, что уже жизнь с трудом через себя пропускала. Работу, конечно, всю исполняла — куда денешься, а так-то ничем больше не жила. Как заводной автомат передвигалась, механически ложку ко рту несла, а ни вкуса, ни запаха не чувствовала. И чем бы

все это кончилось — кто знает, не случись каким-то приبلудным цыганам в село забрести...

Пришла к ним в дом старая-престарая цыганка, кусок хлеба попросить или там картох с десяток, потому как тоже они с голода помирали. Глянула цыганка на Степаниду Ильиничну и ничего просить не стала. Самоволкой села за стол и говорит: мол, денег не надо, золота не надо, даже картошки не надо, только дай руку, я тебе даром погадаю...

Взяла она ее руку, выщупала пальцами в ладони каждую морщинку, даже под большим пальцем чего-то долго рассматривала. И говорит старая цыганка Степаниде Ильиничне: мол, золотая ты моя, знаю — по мужу убиваешься, схоронила его... Второй раз уже схоронила, сердечная моя... Вижу я это, все вижу, моя серебряная. А только напрасны твои слезы, и сердце ты себе надрываешь без причины — жив твой муженек, ненаглядная, и скоро весточку тебе об этом пришлет... В общем, наговорила-нагородила ей та старая цыганка, всю душу извела, а как ушла — посветлело на душе у Степаниды Ильиничны. Словно бы броню какую, панцирь железный, с сердца ее сняла...

Потом уже, годы спустя, узнала Степанида Ильинична, что цыганка, прежде чем к ней зайти, у Колупаевых побывала, что через дорогу от них жили. Там-то она все и выведала. Да ведь какая разница! Главное, надежду она Степаниде Ильиничне подарила, а с этой подмогой — чего было не жить...

В холодных сенях загремело ведро, дверь широко распахнулась — и вот он, Ванятка, любимец бабушкин.

— Явился — не запылится, — улыбнулась Степанида Ильинична. — А мы тут все глаза проглядели.

Ванятка, в добротной двубортной дубленке, джинсах и рыжей ондатровой шапке, с красным шарфиком на шее, был, по понятиям Степаниды Ильиничны, писанный красавец. Ее ничуть не смущали ни курносый Ваняткин нос, ни веснушки, зимой и летом прописанные на этом носу.

— А где наш «ядрена-Матрена»? — с улыбкой спросил Ванятка, сбрасывая дубленку и разуваясь у порога.

— Так видишь, Ванятка, никак его хворь не отпускает, — пожаловалась внуку Степанида Ильинична. — Руками-ногами, вражина, вцепилась в него. Вот, фершалку с уколом ждем, авось поможет...

— Ванюша, — подал голос из горницы Сыромятин, — возле скотины управиться надо... С самого утра не кормлена, не поена, язви его в душу.

— А почта уже была? — весело крикнул Ванятка в горницу, переобуваясь в дедовы валенки с калошами.

— Как же, была, конечно, — удивленно ответила Степанида Ильинична. — А в чем дело-то?

— Да, надо было скотине по газете дать — пусть читали бы, пока я не подошел.

— Язык у тебя, Ванька, — проворчал Ефим Петрович, — истинно — без костей...

— Нет, деда, у меня с костями: я когда в институт поступал, это хорошо почувствовал. Он у меня как встал поперек горла — ни пикнуть, ни мыкнуть не могу. А там пристают: знаешь, мол, или нет? Я им уже руками маячу, знаю, мол, на «отлично» знаю, да вот беда — язык окостенел...

— Ну, а они-то что? — улыбнулась Степанида Ильинична.

— Не поняли, — Ванятка притопнул ногой, проверяя обувку. — Они на немом языке разговаривать — ни в зуб ногой.

— А ты, значит, целую науку по этой части осилил?

— Я пантомимы в клубе разучивал, — Ванятка проследовал в горницу к деду. — Что, деда, окривел?

— Есть маленько, — кивнул Ефим Петрович.  
— Тогда я тебя к нам в драмкружок записываю.  
— Как тебя понимать, Ваня? — опешил Ефим Петрович.  
— А нам в аккурат кривой персонаж нужен. Он должен полтора часа молча в кресле просидеть... У нас этого никто не выдерживает, а тебе в самый раз будет...  
— Все шутки шуткуешь над дедом, — вроде бы рассердился Сыромятин. — Подожди, женишься вот, не до шуток тебе будет.  
— Мне жениться никак нельзя, — серьезно ответил Ванятка, разглядывая фотографии под стеклом, висевшие в простенке над комодом.  
— Это еще почему? — искренне удивился Сыромятин.  
— Я дефективный...  
— Вот так-так, — все больше дивился Ефим Петрович, внимательно приглядываясь к внуку и на время даже забыв о боли под лопаткой. — Это как же тебя понимать прикажешь?  
— Я сплю поперек кровати — иначе не могу. А кто этак-то со мной спать согласится?  
— Да, трудная у тебя задача, внучек... Но, знаешь, хорошая бабенка тебя в один миг развернет и положит как надо, попомни мое слово, — усмехнулся в усы Сыромятин.  
— Ладно, запомню...  
— А теперь ступай, Ваня, не томи скотину, — попросил Сыромятин. — Она ведь не виновата, что я с ног слетел.  
— Это верно, скотина не виновата, — внук продолжал разглядывать снимки в самодельной рамке. — Слышь, деда, а кто это такой важный рядом с тобой возле орудия стоит? Наверде как большая шишка — под плащ-накидкой не видать...  
— Так это подполковник Куликов...  
— Твой командир, что ли?  
— Да как тебе сказать... Вроде того, конечно.  
— А чего это он рядом с тобой сфоткался?  
— Ванька! — рассердился Ефим Петрович. — У тебя совесть есть?  
— Иду, иду, — Ванятка оторвался от фотографии и задумчиво сказал: — Глаза у него умные, а холодные... Крутой был мужик, да?  
— Всякий, — вздохнул Сыромятин и прикрыл глаза, давая понять Ванятке, что разговаривать с ним и далее не намерен.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На закате солнца тяжелая артиллерийская бригада прервала марш и стала поспешно занимать огневые позиции. Первый и третий дивизионы свернули с большака направо, под прикрытие небольшой высоты. Второй дивизион остановился на левой стороне большака. В степи как-то особенно мирно и уютно пахло мятой и чабрецом. Взвился жаворонок и беззвучно повис в высоком небе. «Окопы рыть в полный профиль! — передали приказ генерала. — Ждать налета фашистской авиации и боя с танками».

Зарывались в землю почитай всю ночь. Ефим Петрович, самый старший во взводе по возрасту (ему шел тридцать первый год), работал наравне со всеми. Да и работа на этот раз, в сухую и теплую погоду, была не в тягость. А шестое чувство опытного окопника подсказывало Сыромятину, что бой предстоит жаркий, и чем глубже зароятся они в землю, тем больше будет шансов уцелеть.

К младшему лейтенанту Санбекову подошел артиллерийский техник Борис Бортовой, спросил:

— Ящики из-под снарядов куда девать?

Разгоряченный работой Санбеков досадливо поморщился и неопределенно махнул рукой. Понимать его можно было так: куда хочешь, туда и девай, хоть сортир себе из тех ящиков построй...

— Боря, подожди, — окликнул Сыромятин собравшегося уходить техника. — Давай-ка мы их подальше от огневых позиций оттащим и брезентом накроем.

— Это еще зачем? — удивился Борис, рослый и неимоверно худой москвич.

— Пригодится...

Бортовой вопросительно уставился на младшего лейтенанта.

— Делай, как говорит старшина, — буркнул Санбеков, голый по пояс, с блестящей от пота спиной.

Укладывал ящики сам Сыромятин. Мудрено укладывал, рядами, чтобы можно было между ними ходить, а поверху аккуратно натянул брезент. Солдаты вопросительно смотрели на него, и по выражению их лиц можно было без труда догадаться, что думают они примерно так: «Чудит старшина. На кривой ноге хромать учиться. Жаль, что Санбеков у него на поводу пошел и нам лишнюю работу задал...»

Когда окончательно стемнело и к огненным позициям подогнули полевую кухню, Ефим Петрович как раз закончил свою работу. Он тоже перекусил, но как-то вяло, неохотно, внимательно прислушиваясь к ночной тишине и поглядывая в сторону вражеских позиций. Чай пить не стал. Ловко выбрался за бруствер и медленно, с оглядкой, пополз к высоте.

— Эй, браток, — тотчас окликнули его, — ты далеко собрался?

Ефим Петрович оглянулся и узнал саперов, минировавших подходы к дивизиону.

— Хочу осмотреться, — ответил Сыромятин. — Прикинуть, откуда танки пойдут.

— Ну-ну, давай... Когда будешь возвращаться, держись правее, а то в аккурат на наши мины напорешься.

— Понятно, ядрена-Матрена...

С высоты, вернее, от изножия ее, ничего разобрать было нельзя: лишь смутные голоса доносились со стороны фашистов. Ефим Петрович долго вслушивался, дивясь тому, что немцы не пускают осветительные ракеты. Затем он выдвинулся еще немного вперед и при свете появившейся из-за туч луны прикинул, что танки, скорее всего, пойдут из-за небольшого лесочка, пересекут пашню и вот именно отсюда, из-за высоты, выскочат на батарею... Забыв про осторожность, Ефим Петрович даже на колени привстал, усиленно соображая, что надо бы им свое первое орудие слегка выдвинуть, и минировать саперам надо как раз там, правее, где они советовали ему возвращаться. Сыромятин вновь пополз вперед, и в этот момент раздалась неожиданная команда: «Руки вверх!»

Куликова он видел довольно часто. Ему нравилось, что особист не вязался к солдатам по пустякам, не требовал без нужды приглядываться и принюхиваться. Но более всего располагало к подполковнику то, что во время боя он не прятался на наблюдательном пункте, а почти всегда оказывался там, где бывало всего горячее. Говорили, что он бывший буденновец, воевал с Врангелем и Деникиным, с басмаческими бандами боролся, в общем — пороха понюхал предостаточно...

И вот теперь, лицом к лицу, они оказались в командирском блиндаже. Вначале Ефим Петрович не оценил всю серьезность своего положения. Он думал, что стоит только объяснить подполковнику создавшуюся ситуацию, как все сразу встанет на свои места. Но, как оказалось, не так-то просто было объяснить. Острый, внимательный взгляд Куликова упорно держался на нем, и один за другим следовали короткие, хлесткие вопросы, на которые Ефим Петрович едва успевал отвечать...

Когда в командирский блиндаж вбежал запыхавшийся Санбеков, от порога удивленно уставившийся в растерянное лицо Сыромятина, сидевшего перед подполковником уже без ремня и оружия, Куликов коротко и жестко спросил:

— Твой?

— Так точно, товарищ подполковник.

— Почему он у тебя самовольно по нейтралке разгуливает?

Санбеков смешался, вильнул глазами, но тут же сообразил, что к чему.

— Товарищ подполковник, обстановку надо было уточнить...

— Значит, это вы его послали?

Санбеков, глубоко вздохнув, хотел было ответить, но подполковник крепко прихлопнул ладонью по ящику из-под снарядов и строго сказал:

— Только не врать, младший лейтенант! Все как есть...

— Товарищ подполковник, на каждой новой позиции старшина Сыромятин самолично уточняет обстановку и затем докладывает мне, — Санбеков успокоился и говорил теперь коротко и толково. — Вот и на этот раз...

— А Устав? — перебил подполковник. — Почему он не доложил о том, что покидает пределы вверенного вам взвода? Что уходит на нейтральную полосу?

— Будет наказан, товарищ подполковник, — без запинки ответил Санбеков.

— А я ведь его уже под арест взял, до выяснения обстоятельств, — нахмурился Куликов. — Вы понимаете, что это значит?

— Так точно, товарищ подполковник! Могу лично поручиться за старшину Сыромятина.

— Хорошо, — подумав, ответил Куликов. — Завтра бой... Надеюсь, старшина Сыромятин докажет нам, что не напрасно болтался на нейтральной полосе?

— Так точно — докажет!

— Ну что же, забирайте его... А вы, товарищ старшина, — подполковник устало потер глаза, — благодарите своего командира и еще — судьбу... Да впредь такие глупости не делайте. Можете идти...

Когда рано утром над закопавшейся в землю тяжелой гаубичной бригадой появился двухфюзеляжный самолет-разведчик немцев, Ефим Петрович пожалел, что они так и не успели выдвинуть первое орудие вперед. А теперь, под таким присмотром, было уже не до того. «Рама» долго и упрямо кружила над расположением артиллеристов, тщательно все вынохивая и засекая. Потом вдруг сделала крутой вираж и ушла на запад.

— Сейчас приведет бомбардировщиков, — заметил командир второго орудия сержант Лориненко.

Видимо, Санбеков был такого же мнения, потому что приказал срочно раздать горячий завтрак. С полными котелками аппетитно пахнущей каши с мясом, артиллеристы поудобнее устроились возле орудий, торопливо работая ложками. Тягостная обстановка, вызванная прилетом вражеского самолета-разведчика, несколько сгладилась. Но тут же протяжно закричал наблюдатель поста:

— Воз-зду-ух!

Около двух десятков фашистских бомбардировщиков стремительно заходили на позиции артиллеристов буквально со всех сторон.

— Звездный налет, язви их в душеньку! — прокричал Ефим Петрович.

Когда бомбы уже свистели в прохладном утреннем воздухе, зазуммерил левой телефон.

— Вас, товарищ младший лейтенант, — подал Санбекову трубку связист.

Младший лейтенант успел уловить лишь несколько слов комбата, который не то просил, не то приказывал:



— Ни шагу назад, Санбеков! От тебя зависит...

Но тут связь прервалась, а Санбеков, сметенный с бруствера взрывной волной, свалился на сидящих на дне траншеи артиллеристов.

Не успели скрыться за горизонтом немецкие бомбардировщики, как начался артиллерийский обстрел. Большинство снарядов рвались по левую сторону большака. Когда наконец стихли разрывы тяжелых снарядов, со стороны противника Сыромятин услышал гул моторов... Он тронул за руку Санбекова:

— Танки, младший лейтенант!

— Расчеты, к орудиям! — скомандовал Санбеков, прощупывая взглядом высоту.

Казалось, ничего не могло уцелеть на распаханной бомбами и снарядами земле. Шаг ступишь — дымящаяся воронка. Еще два сделаешь — опять она. Стойкий, удушливый запах фосфора, селитры и пороховых газов стоял над батареей. Но расчеты и гаубицы были целы: помогло, что успели хорошо окопаться. Однако так было только на шестой батарее Санбекова. А вот пятая, седьмая и восьмая почти полностью вышли из строя.

— Теперь нам за весь дивизион воевать, — выслушав донесение, глухо сказал Санбеков. — Не подкачать бы...

— Не подкачаем, — успокоил его Сыромятин, наблюдая за тем, как группа танков занимает высоту на фланге понесшего потери дивизиона. Танки почему-то остановились, и это насторожило Санбекова.

— А не наши ли это машины? — вслух высказал он свои опасения.

Младший лейтенант схватил трубку телефона и отчаянно закрутил ручку, совершенно забыв о том, что связь прервалась еще в самом начале бомбежки, что кабель наверняка иссечен на кусочки осколками бомб и снарядов, а связисты, убежавшие по линии, пока что не вернулись...

И в это время, рассеивая все сомнения младшего лейтенанта, танки открыли беглый огонь из пушек по их позициям.

— По головному — огонь! — подал команду Санбеков.

Маленький ростом, но необычайно подвижный наводчик орудия Вася Моргун потерял при бомбежке каску и, чтобы не слепило восходящее солнце, надвинул низко на глаза чью-то чужую пилотку, смешно поместившись в ней вместе с ушами.

— Плюс! — прокричал Ефим Петрович, наблюдавший за разрывом упавшего с перелетом снаряда. Наводчик быстро уменьшил прицел, внес поправку на курсовой ужедвигающегося танка, и опять потянул за шнур стреляющего механизма. Гаубица дернулась, словно живая, извергла блестящее пламя и клуб ядовитого дыма. Ствол ее резко откатился по направляющим и так же быстро встал на место, а по невидимой глазу траектории с придыхом забормотал тяжелый снаряд.

— Минус! — опять доложил Сыромятин. — Наводить выше!

Теперь Василий Моргун изменил только точку прицеливания, и третий снаряд, нетерпеливо сверля воздух, ушел с батареи. На этот раз выстрел угодил в самую точку.

— Горит головной! — радостно вскрикнул Ефим Петрович, не скрывая своего ликования.

Но артиллеристы уже и сами видели, как из вражеского танка повалил дым и черным султаном поднялся высоко в небо. Фашистские танки, резко изменив курс, какое-то время шли вдоль фронта батареи, и этим мгновенно воспользовался командир второго расчета сержант Лориненко. С первого же выстрела он буквально вlepил сорокатрехкилограммовый снаряд гаубицы в борт вражеской машины, оставив в нем зияющую пробоину. Остальные танки противника поспешно укрывались за высотой.

Между ними и артиллеристами завязалась оживленная дуэль. Гитлеровцы стреляли часто, но беспорядочно, видимо, раздосадованные, что не удалось с ходу смять батарею. Особенно остервенело обстреливали они сложенные под брезентом пустые ящики. Палили так, что только щепки да клочья брезента летели во все стороны. Санбеков, повернув к Ефиму Петровичу смуглое лицо, широко улыбнулся и показал большой палец. Тем временем Вася Моргун подбил третий немецкий танк, высунувшийся было из-за высоты...

Однако вскоре к врагу подошло подкрепление. На поле боя за танками появились с десяток бронетранспортеров на гусеничном ходу. В кузовах плотно, как морковки в грядке, сидели автоматчики. С бронетранспортеров непрерывно били длинными очередями укрепленные на кабинах крупнокалиберные пулеметы.

И вновь дружно ударили наши гаубицы. И по такой завидной мишени, как бронетранспортеры, ни Моргун, ни наводчик второго расчета не промахнулись. Уцелевшие автоматчики спешно попрыгали на землю и бросились спасаться в кукурузное поле.

— Первое и второе орудия, — скомандовал Санбеков, — по автоматчикам, гранатой, взрыватель осколочный, — огонь!

— Второго орудия нет! — доложил Санбекову арттехник Бортовой.

— Как — нет?! — вздрогнул младший лейтенант.

В горячке боя никто не заметил, как вражеский танк обошел батарею далеко с фланга. Прямым попаданием он разбил у гаубицы противоткатное устройство и вывел из строя расчет. Чудом уцелел только командир орудия сержант Лориненко.

— Не ранен? Ходить можешь? — спросил его Санбеков.

— Так точно! — вытянулся перед командиром сержант.

Во время боя, случайно оглянувшись (случайно ли?), Ефим Петрович неожиданно столкнулся взглядом с внимательными глазами Куликова. Подполковник, о чем-то беседовавший с только что вернувшимся связистом, сделал вид, что Сыромятина не узнает.

«Проверяет, — обожгло обидой Ефима Петровича. — Все-таки не поверил вчера. Ни мне, ни Санбекову... Вот же должность собачья какая — никому не верить. Да как же можно так воевать и жить? А ведь не случись ему перехватить меня ночью, мы бы успели выдвинуться вперед и не потеряли вторую гаубицу...»

Мысли эти в одно мгновение промелькнули в голове Сыромятина и тут же забылись, потому как противник ожил и перешел к новой тактике: два звена «мессершмитов» поочередно штурмовали батарею, под их прикрытием пошли в атаку танки, а за ними — автоматчики. Теперь уже невозможно было переждать налет авиации в щелях. Приходилось отражать наступление танков и пехоты под непрерывным обстрелом с воздуха. И за считанные минуты боя батарея потеряла убитыми и ранеными больше, чем за весь день боя. Стальная болванка навывлет пробила грудь командира отделения, с разбитой головой упал в траву заряжающий Шерстнев, как держал снаряд, так и опустился с ним на землю Пенкин. Доложил, что ранен, всегда подтянутый, аккуратный сержант Воронков и тут же повалился на стреляные гильзы...

В критическую минуту боя загорелись ящики с боеприпасами. Пришлось голыми руками разбрасывать их по сторонам, гасить телами, прижимая пламя к земле. И здесь вторично Сыромятин встретился с Куликовым, который наравне со всеми боролся с огнем. Тут уже Ефима Петровича заело, и он демонстративно отвернулся от подполковника, словно бы тоже век не видел и не знал его.

Гаубицу выкатили на прямую наводку и выстрелами в упор остановили еще два танка. По самолетам били из противотанковых ружей. И в это время на батарее прорвались немецкие автоматчики. В ход пошли вначале гранаты, а затем

вяззалась рукопашная схватка... Здоровенный фриц, неожиданно вывалившийся сбоку, подмял Сыромятина, тяжело задышал над ним. Ефим Петрович крутнулся и почувствовал, как лезвие скользнуло мимо шеи в ключицу. Напрягся, пытаясь стряхнуть фашиста и не смог. Хорошо понимал, что во второй раз тот не промахнется. И вдруг немец обмяк. Сыромятин легко столкнул его в сторону, вскочил и увидел разбитый выстрелом затылок противника. Рядом, выкручивая автомат из рук поваленного на землю фрица, бился Куликов. Ефим Петрович помог ему и бросился к Санбекову, к тому времени уже раненному осколком гранаты в грудь.

Отбились... Сыромятин, легко раненный в руку, перевязав младшего лейтенанта, побежал искать снаряды. Куликов, почерневший от копоти, с сильной ссадиной на щеке, сидел на разбитом оружейном ящике.

— Сволочи! — заругался Санбеков. — Сейчас опять пойдут. А на батарее ни одного здорового человека...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Утром, довольно поздним уже, в комнату вошла внучка. Чмокнула деда в щеку, прошла вдоль окон и опять мимоходом приласкала Куликова.

— Говорят, ты плохо себя чувствуешь? — спросила хрипловатым со сна голосом.

— Что-то голова немного кружится, — не стал скрывать Викентий Изотович.

— Ты, пожалуйста, извини меня, — она склонилась, взяла его тяжелую, худую руку и потерлась о нее щекой. — Прости, а?

— За что, Луиза?

— Ну, вчера мы тут... Ночью ворвались к тебе... Это, конечно, ужасно, но я думала немного развлечь тебя... Честное слово!

— Меня теперь развлекать, — усмехнулся Викентий Изотович, — только время напрасну тратить... Так что, конечно, не стоило.

— Понимаешь, Сережка хотел с тобой поговорить... Он ведь и в самом деле — талант! Только вот живет в Москве пока полулегально...

— Как это понимать?

— Без прописки, — Луиза потерла ладонями виски. Видимо, голова у нее после вчерашней бурды все-таки болела, но она не хотела показывать это деду. — Закончил наш Университет и остался, а его нигде не прописывают... В общем — банальная история. Но ему, понятно, от этого не легче.

— Да, припоминаю, ты за него замуж вчера собиралась, — вспомнил Куликов. — И как, надумала?

— Если бы знать, — нахмурилась внучка, подпирая пальцем нижнюю губу, — на мне он собирается жениться или на квартире? Вот в чем вопрос, мой дорогой grosфатер, а не в дурацком — быть или не быть... Понимаешь?

— Да, разумеется...

— Он ведь и Верку при себе как вариант держит.

— Вера, которая все ахала?

— Да... Она, конечно, психопатка, но очень милая.

— Ты вот о любви как-то странно вчера говорила, — вздохнул Викентий Изотович, украдкой разглядывая помятое лицо внучки и силясь разгадать, чем и почему напоминает оно ему Капу. Вроде бы совсем другие черты лица — тоньше, красивее, но общее выражение, мимика — до боли близки и понятны.

— О любви? — Луиза высоко вскинула брови. — Боже, мы и о любви успели поговорить?

— Говорила в основном ты.

— Ах, да! — она вспомнила и поморщилась. — Дедуля, милый, ну какая может быть любовь? Мне давно уже не семнадцать... Я все уже знаю, все видела — меня не проведешь. А Сережка со школы наверняка любит какую-нибудь одноклассницу, если вообще способен любить... Вот пропишется всеми правдами и неправдами, пробьет себе квартиру и привезет свою крестьянку-красавицу из Архангельска. И на этом, я думаю, успокоится... Хотя нет, потом еще дачу в Переделкино выцыганит: квартиру будет сдавать, а на даче — жить... И никакой он не талант, разумеется, — Луиза нервно засмеялась. — Просто для того, чтобы выжить в столице, надо было стать талантливым, вот он и стал... А когда всего добьется, вновь превратится в обыкновенного бездаря, кропающего многокилометровые рукописи, которые будут читать лишь жена да самые близкие друзья... Но к тому времени уже никто не посмеет о нем сказать, что он современный Растиньяк из-под Архангельска, обыкновенная бездарная дрянь... Понимаешь, мой генерал?

Викентий Изотович грустно смотрел на внучку, на ее худенькую, словно бы мальчишескую фигуру, на нервно вздрагивающие руки и длинную белую шею, отчего-то казавшуюся ему жалкой и незащитной. Он чуть ли не с ужасом понимал, что внучка сейчас говорит правду, что она действительно так думает и так живет. И он не мог, никак не находил причины, чтобы объяснить себе, почему она стала такой? Никто не воспитывал в ней циника, трезвого и холодного орангутанга, способного все взвешивать и оценивать на особенных аптекарских весах, которые дают лишь негативные результаты...

— Луиза, девочка, что с тобой? — жалостливо пробормотал Куликов, едва сдерживая подступающие слезы.

— Со мной?! — обомлела внучка, не веря тому, что услышала. — Ты говоришь, что со мною?

— Да, что с тобой? — Куликов отвернулся к стене, уже заранее догадываясь, о чем будет она сейчас говорить. — Знаешь, я иногда радуюсь, что бабушка не успела увидеть тебя такой. По крайней мере — она умерла спокойно... Ведь это невозможно, Луиза... Ты знаешь, что он бездарь, карьерист, и продолжаешь дружить с ним, даже замуж за него собираешься. — Куликов разволновался, ему не хватало воздуха.

Луиза спохватилась, протянула Куликову стакан с водой и, принужденно улыбаясь, небрежно сказала:

— Да слушай ты меня больше, мой генерал... Просто я сегодня встала не с той ноги, только и всего... А ты и разволновался, бедненький мой grosфатер. Ну, успокойся, пожалуйста...

Она и еще что-то говорила, ласково-снисходительное, обращаясь к нему, как к ребенку. Потом вспомнила, что опаздывает на работу, что у них сегодня планерка и опаздывать никак нельзя. В конце концов она громко позвала Евфимию и, когда домработница вошла, с удовольствием покинула комнату больного старика.

Санбекову, командиру огневого взвода, Куликов доверял. И когда он решительно вошел в блиндаж, Викентий Изотович даже порадовался, что не надо будет поднимать шумиху: брать под арест старшину взвода, докладывать по инстанции, писать донесение и опрашивать сослуживцев старшины. И вообще весь этот эпизод с Сыромятиным уже не казался Куликову столь подозрительным и серьезным, как в первые минуты, когда он увидел старшину на нейтралке. Да, налицо было нарушение воинской дисциплины — не имел права Сыромятин появляться на нейтралке без разрешения командира. Но ведь и сам Куликов, никому не сказавшись, уполз к немецкой передовой. А если бы кто-то вздумал проследить за ним? Что бы этот человек подумал? Какие выводы сделал? Конечно, он представитель особого отдела

и не имеет права быть благодушным — на то и поставлен сюда, чтобы исключить утечку секретной информации, пресекать малодушие и дезорганизаторские действия кого бы то ни было. Но значит ли это, что он обязан подозревать каждого, в любом солдате или офицере видеть потенциального предателя?

Додумать эти свои мысли Куликов не успел, поскольку здесь же, за импровизированным столом, уронив голову на руки, заснул. Все-таки ему уже шел сороковой год. И если раньше он мог не спать по несколько суток кряду, то теперь и одной бессонной ночи было достаточно, чтобы почувствовать себя вконец разбитым...

На следующий день, найдя какой-то пустяковый повод, чтобы оказаться в расположении взвода Санбекова, он исподволь приглядывался к Сыромятину. И не потому, что сомневался в старшине, а в силу чисто профессионального долга, который требовал полной определенности и ясности в отношении этого бойца. Он видел, что Сыромятин с завидной постоянностью опережает действия противника — верный признак врожденного воина. Не мог не заметить и того, что артиллеристы прислушиваются к каждому слову старшины, быстро и точно выполняя его приказы. И все-таки...

Когда перестали существовать пятая, седьмая и восьмая батареи, а сам Куликов чуть было не погиб, попав под прицел вражеских танкистов, стало понятно, что основная тяжесть боя перекладывается на плечи шестой батареи Санбекова. И каково же было удивление Викентия Изотовича, с трудом вернувшегося на батарею после совещания в штабе дивизиона, когда он застал всех целыми и невредимыми.

— Как там, плохо, товарищ подполковник? — спросил Санбеков.

— Хуже некуда, — ответил Куликов, с невольной симпатией присматриваясь к внешне невозмутимому, собранному офицеру. — Теперь вам, младший лейтенант, придется за весь дивизион действовать. — Он выдержал паузу, поправил фуражку, спросил: — Справитесь?

— Будем стараться, товарищ подполковник...

Куликову ответ понравился.

— Связи так и нет?

— Какая связь, товарищ подполковник! — Санбеков кивнул на изрытую снарядами землю. — Кабель давно уже в куски порвало. Зря только двух связистов потерял — они бы мне на батарее пригодились...

Потом опять были лобовые танковые атаки, пикирующие «мессершмиты», бронетранспортеры с автоматчиками и снова танки, все выползающие и выполняющие из-за высоты.

«Эх, если бы одному оружию заранее выдвинуться вперед, — думал Куликов, — да ударить по скоплению вражеских танков на исходных позициях, тогда бы еще бабушка надвое сказала — кто кого...»

Минувшая ночь, нейтралка, допрос старшины в блиндаже казались Куликову чудовищно далекими событиями. Как-то забылось и о том, что он здесь представляет особый отдел, что обязан следить за настроением бойцов, поднимать дух и так далее. Ничего этого не осталось в его сознании во второй половине дня, а только два жестоких и необходимых понятия: мы и они! И когда завязалась рукопашная схватка с фашистами на батарее, в которой Куликов чувствовал себя довольно уверенно, ему и вообще уже было не до старшины Сыромятина и его проступка. В какой-то момент он увидел рядом с собой зеленый мундир, туго обтягивающий сильные плечи, а под ним извивающиеся ноги в сношенных сапогах, и выстрелил в затылок фрица почти автоматически, совсем не подозревая, что из-под зеленого мундира покажется усталое, потное лицо Сыромятина. Вскоре и самому Куликову несладко пришлось: приклад вражеского автомата целил ему в висок. Успел ли сам Викентий Изотович уклониться, или немец промахнулся, но удар пришелся

ниже, в правую скулу. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы он на какое-то время потерял сознание. Но перед этим Викентий Изотович все-таки успел сделать шаг вперед, схватить за горячее дуло автомат и вместе с фашистом свалиться на землю. В следующий момент он увидел высоко занесенную руку Сыромятина, в которой был зажат круглый автоматный диск.

«Кажется, старшина не любит оставаться в долгу», — с невольным уважением подумал Куликов, освобождаясь из-под «своего» немца.

И эта атака была отбита, но уже становилось ясно, что долго им не продержаться: на батарее не оставалось ни одного человека, который бы не получил ранение. Вышло из строя второе орудие, кончались боеприпасы. Командир взвода, младший лейтенант Санбеков, был ранен осколком в грудь... Но обо всем этом думать как-то не хотелось. Просто наступила минута затишья, и ее надо было прожить...

— Сволочи! — выругался Санбеков. — Сейчас опять пойдут. А на батарее ни одного здорового человека...

И в это мгновение словно бы ветром пахнуло на батарею, потом земля встала на дыбы, опрокинулась, и больше ничего в сознании Викентия Изотовича не удержалось.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Это был не сон, и не забытье, и даже не бессознательное состояние: это была потеря всех чувств, в том числе — чувства ритма. То есть он не ощущал биения собственного сердца... Это была пропасть без каких-либо границ, неосязаемая и неосязаемая. И все-таки что-то настойчиво продолжало жить в нем, какой-то тайный уголок сознания давал всему организму информацию о том, что он все еще жив. И благодаря именно этой информации в нем не переставала пульсировать кровь, не затвердели конечности, работали все внутренние органы... И вне сознания кто-то продолжал давать им кодированную программу жизни, и они неукоснительно выполняли ее.

А тело, брэнное тело Викентия Изотовича и знаменитая подкорка никакого участия в этом не принимали. На вид его тело оставалось неподвижным и безжизненным, мозг не давал и не принимал никакой информации, не вступал во взаимодействие с внешним миром... Так продолжалось довольно долго. По крайней мере, когда Викентий Изотович наконец очнулся, была глубокая ночь. Это он понял по высоким звездам, отстраненно и даже как бы враждебно блиставшим в бездонной пустоте, и по той удивительной тишине, которая случается на войне лишь ночью после тяжелого боя. Первая же мысль, паническая, страшная, которая прострелила его мозг — плен. Она моментально встряхнула Куликова, заставила собраться с силами и, насколько позволяло положение, в котором он лежал, оглядеться и осмыслить себя в создавшейся ситуации. А лежал Куликов довольно неловко, на правом боку, упираясь головой во что-то твердое.

Выяснить Куликову удалось лишь то, что находится он, скорее всего, в лесу, что голова его упирается в приклад немецкого автомата, а сам он, словно кокон, перевязан какими-то тряпками. Тела своего он пока что не чувствовал, но, когда попытался опрокинуться на спину, — грудь прострелила сильная боль. С трудом, но Куликов дотянулся до кобуры — пистолет был на месте. Это его немного успокоило.

Всем опытом военного человека Викентий Изотович понимал, что необходимо перебраться в другое место, отползти хотя бы на десяток метров. И он, собрав силы, попытался перевалиться на живот. Это ему удалось. На боль он старался не обращать внимания. И о том, какая именно у него рана, думать тоже пока не хотелось.

Просунув руку под ремень автомата, другой сжимая холодную рукоять пистолета, Куликов пополз, как он сам определил для себя, вперед и вправо. Уже через несколько минут голова у него закружилась, в ушах появился сильный звон, во рту — сладковатый привкус. Викентий Изотович понял, что потерял много крови. И все-таки он прополз еще десять-пятнадцать метров, развернулся головой в свой след и залег за березой. Когда все это было сделано и Куликов почувствовал себя в относительной безопасности, он, скажем так, позволил себе на несколько секунд потерять сознание. Возможно, это было просто автоматическое выключение ослабленного организма, крайне необходимое ему в эти минуты...

На этот раз возвращение к жизни было более полным, и Викентий Изотович подумал о том, что случилось с батареей и как очутился он здесь, в этом лесу. В том, что батареи больше не существует, — сомневаться не приходилось. Но вот люди, что с ними? Жив ли младший лейтенант Санбеков, а если жив — где он?

В стороне, противоположной той, откуда приполз Куликов, ему почудился легкий шум. Вслушиваясь, он затаил дыхание, удобнее положил автомат. Ни звука более не доносилось, но он явственно ощущал близкое присутствие человека. Вскоре шум повторился. Теперь уже можно было определить чьи-то шаги по ночному лесу, а вскоре и неясный силуэт человека мелькнул между деревьев. Человек этот, вне сомнения, направлялся к тому месту, где прежде лежал Куликов. В его повадке оглядываться, слушать, затаиваться за деревьями Викентию Изотовичу почудилось что-то знакомое, но он от этого чувства отмахнулся. Что человек разыскивает в ночном лесу именно его — Викентий Изотович не сомневался. А вот зачем он это делает — об этом стоило хорошо подумать.

На несколько мгновений незнакомец исчез из поля зрения Куликова, а затем вновь появился и уже совсем рядом. Низко склоняясь, что-то разглядывая в траве, он приближался. Сомнений не оставалось — человек шел по его следу.

— Стоять! — хрипло, чужим голосом, скомандовал Куликов, выцеливая дулом автомата грудь незнакомца. — Брось оружие...

— Товарищ подполковник! — услышал он обрадованный голос старшины Сыромятина. — А я вас ищу.

Сыромятин сделал было следующий шаг, но тут же споткнулся о чужой и враждебный голос Куликова:

— Стоять, я сказал! Ни с места! Иначе стреляю без предупреждения...

— Да вы что, товарищ подполковник? — растерянно пробормотал Сыромятин. — Не узнаете меня?

— Узнаю, — голова у Куликова кружилась от напряжения, фигура старшины странно обламывалась у пояса и раздваивалась. — Где вы были? Почему один? Где Санбеков?

— Младший лейтенант погиб... Алехин, Лориненко и все остальные — тоже...

— Где мы находимся?

— Так это, ядрена-Матрена, я же вас...

Голос Сыромятина почему-то начал стихать, как бы растворяясь в воздухе, и вдруг оборвался совсем. Куликов очень этому удивился, хотел окликнуть старшину, но не успел...

— Зачем надо было вам ползти? — первое, что услышал Викентий Изотович, когда пришел в себя. — Вон, опять сколько крови потеряли... Вся трава за вами, как в росе...

Чувство опасности еще не оставило Куликова, и он не без усилий тревожно прохрипел:

— Где мой пистолет?

— Я его обратно в кобуру сунул.

Куликов, морщась от боли, проверил. Сыромятин, увидевший это, обиженно покачал головой и спросил:

— Так и не доверяете, товарищ подполковник.

Куликов промолчал. Сыромятин, тяжело вздохнув, неуверенно сказал:

— Надо бы перевязку сделать, товарищ подполковник.

— Делайте, — неожиданно для старшины легко согласился Куликов. Однако, заметив в руках Сыромятина немецкие индивидуальные пакеты, вновь насторожился. — Откуда они у вас?

— Так я же за ними специально ходил, — пояснил старшина. — На ночь глядя фрицы своих подобрать не успели, вот я и разжился.

— Доложите обстановку, — уже более спокойно попросил Куликов.

— Какую обстановку, товарищ подполковник? — растерялся Сыромятин.

— Какую знаете...

Разматывая тряпье, которым был перевязан Куликов, старшина обстоятельно, с паузами, докладывал:

— На батарее, товарищ подполковник, случилось прямое попадание. В поисках снарядов я побежал на восьмую батарею, потому и уцелел. Когда вернулся, Санбеков уже был убит... Я подумал, что погибли все. А фашисты уже на подступах: танками и пехотой прут. Что делать — затаился. Гранаты приготовил и залег... А фашисты тоже решили, что батарея уничтожена и прошли левым флангом. Пока я в укрытии лежал и маневры фашистов высматривал, мне один холмик земли странным показался... Начал раскапывать, а под ним... Думал я, что вам тоже конец, однако послушал — сердце работает... В груди, с правой стороны, рваная осколочная рана у вас — даже смотреть было страшно... Промыл водкой из фляжки, собрал тряпье, остатками водки полил и перевязал... А уже темнеть начало и бой затих. Точно я не знаю, но, кажется, отошли наши... Когда совсем стемнело, перенес вас сюда, в лесочек... Здесь, недалеко, деревенька располагается, но чья она сейчас — вопрос...

Деревеньку Куликов помнил. Она оставалась в глубине их обороны и предусматривалась как запасной огневой рубеж. Но, видимо, воспользоваться им не удалось...

— Ох, глаза бы мои не видели, — поморщился старшина. — Разворочало-то как, ядрена-Матрена, до кости.

Викентий Изотович скосил глаза и поспешно отвернулся: зрелище, действительно, было не из приятных.

— Однако, — размышлял старшина, — зацепил он вас, скорее всего, на излете. А иначе бы...

Когда с перевязкой было покончено, Сыромятин закурил и устало повалился на землю рядом с Куликовым. Долго молчали, прислушиваясь к ночной жизни леса.

— Как вы думаете, который теперь час? — спросил Викентий Изотович.

— Часа три, наверное, — ответил старшина.

— Что делать будем?

— К своим надо выбираться, — старшина сплюнул. — Только где они теперь — опять же вопрос.

Куликов попытался представить, как развивались события после его ранения, но от этого усилия быстро устал, так ничего и не придумав в ответ на вопрос Сыромятина.

— Я думаю так, — задумчиво проговорил старшина, — надо бы разведку в отношении населенного пункта провести... Посмотреть, кто там теперь — наши или фрицы. А потом уже соответственно обстановке действовать...

Куликов не мог не отметить то, что их мысли почти полностью совпали и, напрягая зрение, попытался разглядеть лицо старшины. Но хорошо различались



лишь небольшие рыжеватые усы и коротко стриженный затылок под изрядно выгоревшей на солнце пилоткой.

— А вообще-то вы откуда будете? Из каких мест? — неожиданно для себя спросил Викентий Изотович.

— Я? — удивленно переспросил Сыромятин и с удовольствием ответил: — Я издалека... Аж с самого Дальнего Востока — с Амура-реки, может, слышали?

— А как же, — Куликов невольно усмехнулся, — доводилось...

— Я ведь кому ни скажу про Дальний Восток, все сразу Комсомольск вспоминают, а больше-то про наши края ничего не знают... Сам-то я из лесорубов буду... У нас тайга, товарищ подполковник, никем не меренная, редким человеком хоженая. Как от Амура-реки пойдешь, так до самого Тихого океана вся земля в лесах стоит, если по-нашему — тайгой называется... Зверя там у нас всякого, товарищ подполковник, дичи — видимо-невидимо. А про рыбу нашу дальневосточную я и говорить не хочу...

Куликов, слегка удивленный разговорчивостью старшины, внезапно поймал себя на мысли, что ему тоже хочется пооткровенничать перед этим человеком, рассказать ему о своей родной деревеньке недалеко от Белгорода, в которой не бывал он уже лет десять. О службе на Дальнем Востоке рассказать, но Викентий Изотович вовремя сдержал себя, памятуя о том, что ночь на исходе...

Сыромятин, словно бы догадавшись о мыслях подполковника, вдруг решительно поднялся с земли, подхватил свой автомат, проверил диск и полувопросительно сказал:

— Ну, так я, значит, пошел...

— Да, пожалуй что, пора... Надо успеть, пока не рассвело.

— Знамо дело, товарищ подполковник. Только вы на этот раз — никуда! Я скоро вернусь.

— Знаете что, старшина, — Куликов с трудом дотянулся до кобуры и вынул из нее пистолет. — Возьмите с собой эту игрушку.

— Да зачем она мне? — удивился Сыромятин, похлопывая по прикладу автомата. — У меня — во!

— Возьмите, я вам говорю, — нахмурился Куликов. — В разведке он бывает незаменим.

— Ну, как скажете, товарищ подполковник, — Сыромятин задрал гимнастерку и сунул оружие под ремень. При этом Куликов заметил, что он как-то странно, неестественно высоко поднял левое плечо.

— Удачи вам, товарищ старшина...

— А чего — ничего, — махнул тот рукой, половчее перехватывая автомат, и шагнул в темноту. Какое-то время Куликов слышал его удаляющиеся шаги, а потом все стихло, лишь где-то на юго-востоке приглушенно ухали тяжелые орудия.

Ночь была на исходе. Это можно было понять по той особенной свежести, что исходила от земли, да по медленно тускнеющим звездам. Томительно тянулись минуты, казавшиеся Куликову нескончаемо долгими и тревожными. Викентий Изотович понимал, что при создавшейся ситуации его жизнь целиком зависит от старшины, которого он по воле нелепого случая чуть не подвел под военный трибунал. Куликов вдруг вспомнил недоуменно-вопросительный взгляд Сыромятина в блиндаже и тот мгновенный испуг, который пережил старшина, когда понял, в чем его подозревает подполковник особого отдела...

Болела грудь. Нестерпимо хотелось освободиться к чертовой матери от тугой повязки, вдохнуть в полную силу, остудить свежим воздухом запекшуюся рану. Куликов пошевелился, устраиваясь удобнее, и вдруг совершенно ясно, рядом, услышал немецкую речь. И в одно мгновение его ослепила страшная догадка:

старшина все-таки предал его. Выдал немцам и теперь ведет их сюда. Не обращая внимания на боль, Куликов резко перевернулся на живот и вскинул автомат. В этот момент у него было лишь одно желание — первым уложить предателя.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ефим Петрович в деревню пошел не сразу. Вначале он дал большой круг по лесу и, лишь убедившись, что Куликову опасность не угрожает, быстро зашагал пологой ложбинкой, которая, он это уже знал, одним концом упиралась в высоту, а другим — выходила к деревне. Дома появились неожиданно, словно выросли из-под земли. Ефим Петрович предусмотрительно залег на пригорке, пристально вглядываясь в темные контуры домов. Ни единого звука не доносилось до него, ни одного огонька в окне не удалось разглядеть Сыромятину. Казалось, что деревня полностью вымерла: вместе со скотиной, собаками и птицей... И все-таки он был предельно осторожен. То и дело останавливаясь, прислушиваясь к каждому шороху, Сыромятин скатился с пригорка, а наткнувшись на деревенский плетень, пополз вдоль него. Перед крайним домом затаился еще раз. Что-то его все-таки настораживало в этой тишине, смутное чувство опасности холодком поднималось от живота. Но и ждать дальше уже было нельзя: на востоке явственно обозначилась широкая полоса близящегося рассвета. Ефим Петрович хорошо понимал, что еще до восхода солнца он должен вернуться к подполковнику...

Тихо, кончиками пальцев, он побарабанил по стеклу. Был уверен, что его не услышат. Но там, за белой занавеской, сразу же угадалось какое-то движение. Отпрянув в сторону, схоронившись за простенком, Ефим Петрович не сводил глаз с окна. Наконец занавеска дрогнула и сдвинулась, в окне показалось встревоженное женское лицо. Увидев Сыромятина, выступившего из своего укрытия, женщина почему-то напряглась и даже отступила вглубь комнаты. Ефим Петрович, однако, значения этому не придал. Махнув рукой в сторону входа, он пошел к двери. Немного выждав и оглядевшись, он легонько толкнул дверь ногой — она оказалась открытой. Тут бы ему и насторожиться: с какой это стати в прифронтовой полосе женщина держит свою дверь ночью открытой? Ефим Петрович не насторожился. Он уже спешил, старался обогнать рассвет, с каждой минутой все явственнее обозначавшийся на востоке.

Слегка пригнувшись, Ефим Петрович перешагнул порог и увидел перед собой невысокую женщину, зябко кутавшуюся в большой серый платок и все так же растерянно смотревшую на него... Он слегка удивился ее испугу, прежде чем осознал, что женщина словно бы видит за его спиной еще кого-то... Сыромятин быстро оглянулся и вздрогнул, увидев вплотную наведенное на него дуло автомата.

— Брось оружие! — коротко приказали ему.

— И не дури, возиться с тобою мы не будем, — предупредил второй голос.

Ефим Петрович выпустил из рук автомат, с невольным упреком посмотрев в лицо женщины, испуганно наблюдавшей за ними.

— Ну, пошли, — сказал первый голос и чуть ли не дружелюбно хлопнул Сыромятина по плечу. — Там тебя заждались...

Вышли на улицу. Полицаи на мгновение замешкались, что-то наказывая женщине. Этого мгновения Сыромятину хватило, чтобы выхватить из-под гимнастерки пистолет и почти в упор расстрелять ничего не успевших сообразить предателей.

— Где наши? — повернувшись к женщине, хрипло спросил Ефим Петрович. — Куда они отошли?

— Туточки они, рядом, — торопливо ответила женщина, показывая на лес за деревней. — А вы тикайте! Тикайте швыдко! Зараз сюда нимцы набегут...

Сыромятин и сам хорошо понимал, что ему надо спешить. Подобрал автоматы полицаев, он выскочил за калитку, глянул вдоль улицы, на которой пока что никого не было, и припустил к ложбинке, по которой добирался сюда. Отбежав на порядочное расстояние, Ефим Петрович бессильно упал на землю, хватая воздух широко открытым ртом. Кажется, только теперь он испугался по-настоящему, заново переживая все то, что случилось с ним несколько минут назад.

«Ждал бы меня подполковник, — подумал Сыромятин. — Еще, ядрена-Матрена, бог знает чего мог бы подумать обо мне».

Вспомнив Куликова, оставшегося в лесу, Ефим Петрович вскочил, охнув от пронзительной боли в левой руке, которую зацепило осколком еще на батарее, подхватил автоматы и побежал дальше.

Было уже совсем светло. Звонко пели утренние птицы. Низко над землею потянулись перистые облачка тумана. За лесом, на который показала женщина, похоже, разгорался бой. Там ухали тяжелые орудия, пролетели в ту сторону наши штурмовики, слышались отдельные пулеметные очереди, резкие хлопки зениток. Сыромятин внезапно поразился тому, что рядом с войной, буквально в нескольких километрах от яростно грохочущего боя, мирно расппевают птицы, продолжая вершить свои обычные земные дела...

При дневном свете он не сразу узнал то место, где оставил подполковника, и поэтому вздрогнул от неожиданности, когда Куликов негромко окликнул его:

— Старшина! Я здесь...

Обрадованный Сыромятин, враз почувствовав весь груз усталости, скопившейся за минувшую ночь, как подкошенный рухнул на землю рядом с подполковником, и громко застонал от новой боли в руке.

— Фу, черт! — выругался он, потирая онемевшее предплечье. — Все забываю...

— Что с вами? — насторожился Куликов.

— Еще на батарее зацепило осколком, — сквозь зубы ответил Ефим Петрович. — Вроде бы только мякоть задело, а болит, ядрена-Матрена...

— И вы до сих пор молчали? — удивился Куликов.

— А что толку говорить, товарищ подполковник: в медсанчасть ведь не отправите?

— Не отправлю, — усмехнулся шутке Куликов.

— Я только на минутку... Отдохнуть бы, — пробормотал Сыромятин, не в силах поднять на подполковника глаз. — Потом я вам все доложу...

И еще успел услышать, как Куликов ответил ему:

— Отдыхайте, товарищ старшина...

Проснулся Сыромятин часа через полтора, хотя ему показалось, что он и минуты не спал. Проснулся бодрый, посвежевший, с желанием — жить. И сразу почувствовал голод такой силы, что не удержался, мечтательно сказал:

— Эх, картохи бы чугунок да хлеба ржаного с луковицей.

— Товарищ старшина, я должен вам сказать...

И чувство голода моментально слетело с Сыромятина, до того странно и необычно прозвучал голос подполковника. Ефим Петрович вскинулся с земли и настороженно уставился в переносицу Куликова, ожидая бог знает чего.

— Вернее, — продолжил подполковник, твердо глядя в глаза Сыромятина, — я должен попросить у вас прощения и прошу его — простите!

В первое мгновение Ефим Петрович решил, что у подполковника горячка, до того странно и неправдоподобно прозвучало то, что он сказал.

— А за что вы прощение просите, товарищ подполковник? — наконец ответил смущенный Сыромятин.

— За то, товарищ старшина, что дважды не поверил вам, дважды унизил вас незаслуженным подозрением. — Куликов умолк и отвернулся. — Первый случай вы знаете — на нейтральной полосе... Второй... Стоило вам уйти в деревню, как услышал я совсем рядом немецкие голоса... Понимаете? И я решил, что это вы фрицев ко мне ведете... И вот решил я, старшина, — твердо, жестко говорил подполковник, — первой пулей вас положить, а потом уже и о своей смерти позаботиться... За это и прошу прощения...

И черт дернул Ефима Петровича за язык, сподобил его спросить у раненого и виноватого человека:

— А ну, товарищ подполковник, как в третий раз случай выпадет, что вы в третий-то раз обо мне подумаете?

Спросил Сыромятин и сам напугался своего вопроса: добро бы, обыкновенный подполковник рядом с ним был, а то ведь из таких войск, где сами спрашивать любят... А за вопросы туда отправить могут, где и Макарка своих телят не пас. Но Куликов, немного помедлив, твердо ответил:

— Вы вправе меня об этом спросить...

Тут уже Ефиму Петровичу совсем не по себе стало, и он поспешил заглядывать свою вину:

— Да я это так, товарищ подполковник, с языка сорвалось у дурака, — не обращайтесь внимания... Было, да и прошло... А вот если бы, скажем, сейчас осьмушку хлеба раздобыть, то и дальше жить можно, — вновь ощутил сильнейший голод Сыромятин и вдруг вспомнил: — Так, товарищ подполковник, чем дело-то кончилось?

— Прошли они мимо вон того куста, — показал Куликов. — Я даже запах их различил... Видимо, разведчики, на нашу сторону ходили, а может, и от своих отбились. Но смело шли, не прячась, как у себя дома...

Помолчали. Сыромятин только теперь разглядел осунувшееся, землистого цвета лицо подполковника, густо затянутое суточной щетиной.

— Ну а у вас какие новости? — спросил Куликов безо всякого интереса. — Немцы в деревне?

— Полицаи, — вздохнув, ответил Ефим Петрович. — Рожи у них, товарищ подполковник, за три дня босиком не оббежать... Отъелись, сволочи, на вдовьих харчах.

— Так вы что же, так близко их видели?

— Ближе некуда...

И Ефим Петрович подробно рассказал обо всем, что с ним случилось, вновь переживая произошедшее, волнуясь и горячась.

— За пистолет, товарищ подполковник, большое спасибо, — закончил Сыромятин свой рассказ. — Выручил он меня... Без него я вряд ли бы вернулся.

— Знаете, старшина, из пистолета еще и выстрелить надо, — ответил Куликов, пряча свое оружие в кобуру. — Но я рад, что он вам пригодился...

Между тем бой за лесом, похоже, разгорался. Порой казалось, что он приближается к ним. Сыромятин порывался сходить на разведку, но Куликов его удержал. Наконец ближе к полудню все вроде бы стихло, и непривычная тишина притаилась за деревьями. Ефим Петрович не без труда забрался на старую, корявую березу и внимательно осмотрелся. Хорошо просматривалась бывшая позиция их батареи, перепаханная бомбами и снарядами, с мрачными остовами сгоревших немецких танков. Большак, по которому они проскочили спешным маршем, край деревеньки... И вдруг Ефим Петрович увидел страшное: два немецких автоматчика выводили из дома женщину в сером платке. С обмершим сердцем, не веря своим глазам, он смотрел, как поставили женщину к стене сарая и один из фашистов дал короткую

очередь по ней. Женщина упала на колени и мгновение спустя сунулась на землю лицом вниз. Второй автоматчик полил крыльцо и входную дверь из небольшой канистры и поджег... Схватился быстрый огонь, лизнул угол дома, скользнул к ставням. Немцы выскочили за ограду и рысью побежали к центру деревеньки...

— Ах ты, сука гитлеровская! — разгневанно бормотал он, спускаясь с бере-  
зы. — Ах ты, фарфлюктер подлый, бабу стрелять...

— Что случилось, старшина? — насторожился Куликов.

— Они женщину ту, я вам рассказывал, только что расстреляли... Ну, да я сейчас...

— Отставить! — Куликов с усилием приподнялся на локте, сверля Сыромятина воспаленными глазами. — Вы слышите меня?

— Так точно, — устало ответил Сыромятин, опуская на землю автомат.

— Успокойтесь... Ничего исправить уже нельзя, а вот сами погибнете ни за понюх табаку... Вы с какого года воюете? — неожиданно спросил Куликов.

— С сорок второго, товарищ подполковник, с июля месяца.

— Вот видите... Вам теперь, старшина, цены нет. Вы один десятерых необ-  
стрелянных новобранцев стоите... Ведь ящики под брезентом — ваша придумка?

Сыромятин про ящики не сразу вспомнил, а вспомнив, равнодушно махнул рукой:

— Что ящики, батарею не уберегли... Санбекова жалко, товарищ подполков-  
ник, Лориненко, Васю Моргуна... Мы ведь почти год вместе отвоевали, а тут...

— Надо бы нам, старшина, к своим выбираться, — нахмурился Куликов. — К своим надо, а там мы немцам предьявим счет: и за ребят наших, и за женщину, и за всех остальных...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Фельдшерица, совсем еще молоденькая девушка с аккуратной, высокой прической над узковатым смуглым лицом, пришла в десятом часу утра. Не спеша, серьезно расположилась со своим инструментом в горнице, внимательно расспро-  
сила о самочувствии и сделала довольно-таки болезненный укол. В комнате сразу запахло лекарствами, стало как-то неуютно среди давно привычных предметов и вещей. Вся домашняя обстановка, такая близкая и родная прежде, теперь как бы отстранилась от Сыромятина, стала ему малоприятной. Как-то тяжело было соз-  
навать себя отдельно ото всего, что продолжало жить, нимало не беспокоясь его хворью... Он невольно пожалел еще раз, но гораздо острее, Степаниду Ильиничну, столько лет живущую в таком вот состоянии.

— Я вам направление в районную больницу выписала, — сказала между тем  
фельдшерица. — Поедете, подлечитесь, и все будет хорошо...

— А надо ли? — покосившись на дверь в кухню, тихо спросил Ефим Петрович.

— Что? — не поняла молоденькая фельдшерица, которую, вспомнил Сыромя-  
тин, звали Людмилой Ивановной.

— Надо ли, говорю, мне тридцать верст по проселку трястись?

— А как же! — разволновалась Людмила Ивановна, глядя на него по-молодому  
искренними, темно-каштановыми глазами. — Как же, Ефим Петрович, — обяза-  
тельно надо! Там же врачи, они вас на рентген направят, лекарства хорошие вы-  
пишут... Обязательно надо ехать, сегодня же надо ехать, Ефим Петрович. Я вам  
которые уколы ставлю, так они только общеукрепляющие, ваш организм должны  
поддержать. А вам необходимо специальное лечение... Тем более, Ефим Петрович,  
как участник Великой Отечественной войны, вы имеете право на внеочередное и  
самое лучшее обслуживание. — Она немного подумала и нерешительно добави-  
ла: — Вам и лекарства, Ефим Петрович, самые дефицитные выпишут...

— Ну а вдруг я дорогой, милая, того...

— Что? — округляя глаза, прошептала фельдшерица.

— У меня ведь осколок под сердцем сидит, — вздохнув, сознался Сыромятин, — с войны еще... Мне хирург говорил, что он в любую минуту может сдвинуться.

— Как — осколок! — непонимающе посмотрела на него Людмила Ивановна. — Какой осколок, Ефим Петрович?

— Обыкновенный, от вражеской пехотной мины, — устало ответил Сыромятин.

Молоденькая фельдшерица была поражена. Ефим Петрович хорошо видел по ее смуглому и красивому лицу, как усиленно думает она, бесполезно пытаясь осознать его слова. Видимо, так и не нашлось в ней сил, способных переварить полученную информацию, и она одними губами, с надеждой глядя на Сыромятина, едва слышно спросила:

— Вы шутите, Ефим Петрович?

— Мне нынче не до шуток, милая, — нахмурился Сыромятин.

— Но я ведь вам и диагноз в направлении поставила: двухстороннее воспаление легких... Как же теперь? Ведь у вас в легких отчетливо прослушиваются шумы, а вы мне про осколок говорите. Вы простыли, Ефим Петрович!

И Людмила Ивановна еще долго непонимающе смотрела наивными глазами на Сыромятина, вздыхала, косилась на справочник фельдшера, но так и не решилась заглянуть в него, видимо, хорошо вызубрив и запомнив, что про осколки, сидящие в человеке со времен войны, в нем ничего не говорится. Ведь что получалось на самом деле: этот осколок от фашистской пехотной мины был старше Людмилы Ивановны ровно в два раза. Когда она родилась, осколок уже двадцать лет уютно пролежал под сердцем Сыромятина. Маленький, с ноготок ее мизинца величиной, с зазубринами по одному краю и косому, острому срезу — по другому, этот кусочек металла прожил в живом организме более сорока лет, словно занесенный над ним перст судьбы. И вот теперь, спустя столько лет, осколок Великой Отечественной войны настиг своего солдата и больно ударил... Может быть, последний такой осколок, может быть — последнего такого солдата...

— А вы это точно знаете? — наконец спросила Людмила Ивановна, вдруг ставшая совсем тихой и задумчивой.

— Я боль свою чувствую, — ответил Сыромятин.

— И что же нам теперь делать? — фельдшерица нервно покусывала полненькую нижнюю губу. — Разве что вызвать врача из райцентра? — Людмила Ивановна оживилась. — Только кого мне вызывать — терапевта или хирурга? Шумы-то я у вас в легких все-таки слышала...

Она еще немного помедлила, потом взялась слушать Ефима Петровича по второму разу, хмурия тонко выщипанные брови и приоткрыв от усердия свежий молодой рот. Халат ее, когда она низко склонялась над Ефимом Петровичем, пах чисто и приятно.

— Осколок там не слышно? — усмехнулся Ефим Петрович.

— Что? — Людмила Ивановна поморгала ресничками.

— Я говорю, осколок не прослушивается? Может, у него за эти годы свой голос народился...

— Нет, я ничего такого не слышу, — серьезно ответила Людмила Ивановна.

В общем, так вот и прошла утренняя встреча с фельдшерицей. И пугать ее, рассказывать о том, что уже два носовых платка до ее прихода он искровянил, Ефим Петрович не стал.

— Никаких лишних движений, — уходя, строго наказала Людмила Ивановна. — Полный покой... А я сейчас в район буду звонить. Главное, Ефим Петрович, избегайте резких движений...

Фельдшерица ушла, и Сыромятин облегченно вздохнул. А через несколько минут пошла к нему из кухни Степанида Ильинична. Это он понял по звуку передвижаемой табуретки и глухим ударам им же выструганной черемуховой палки о половицы.

— Что, Петрович, отказался в больницу ехать? — отдышавшись после утомительного дня нее перехода, спросила жена.

— Отказался, мать, отказался, — глухо ответил Ефим Петрович, скашивая на супругу глаза. — Нечего мне там делать, потому и отказался.

— Ну и ладно, — неожиданно легко согласилась Степанида Ильинична.

— Фершалка-то погрозились сюда врача вызвать, да не знаю...

— А чего? Она вызовет... Не смотри, что молоденькая да неопытная — девка хваткая... Вот такую бы нашему Ванятке.

Тут Ефим Петрович сильно засомневался, но возражать супруге не стал.

Тихо было в доме и покойно, лишь из кухни едва доносилось неразборчивое бормотание репродуктора да капала из умывальника в цинковый таз вода. От недавно протопленной круглобокой голландки исходило ровное, уютное тепло. Сквозь окна лился в горницу не шибко яркий, но устойчивый свет раннего зимнего дня. С улицы изредка слышались людские голоса, иногда проезжала мимо окон случайная машина — и вновь тишина по всей деревне, надежно прилепившейся к каменистому правобережному взгорью...

В девках Степанида неприметная была, тихая, о ней и слова-то лишнего никто не сказал, потому как попросту не замечали ее. И он, Ефимка Сыромятин, тоже не замечал, хотя и вырос через улицу от ее дома. Но однажды, перед самой осенней путиной, играли ребята с девочками возле избы-читальни в ручеек, и Степа, пробежав почти всех, его выбрала. Ну, мало ли кто и кого выбирает, на то и игра затевается. Но он вдруг почувствовал, как вздрагивает от напряжения в его пальцах ее горячая рука, и ему как-то беспокойно подле девушки стало. Глянул Ефимка на нее, а она тут же глазами в сторону убежала и покраснелась вся. Потом, уже до самых сумерек, Ефимка нет-нет да взглянет украдкой на Степу Головину. И как взглянет на нее, так вдруг сердце собственное и почувствует...

А провожать-таки пошел он Тоньку Русакову. Провожались, как всегда, до полуночи, сидя у Тоньки под палисадником. Слушали гармошку на другом конце села, гусиное бормотание на озере, смотрели в небо, где звезд было до полночи и больше, лениво переговаривались. Тонька, почитай, первая красавица на селе, всеми мужскими глазами облаканная. У Ефимки и гордость на душе от этого и неудобство какое-то одновременно. Словно бы на глазах у сельчан вывел он из конюшни жеребца племенного, а вспрыгнуть на него боится...

Потом они с Тонькой целовались. От поцелуев Тонька отяжелела, обвалилась на руки Ефимки, но глаза держала открытыми, словно подглядывала за ним. Ефимка свои глаза тоже не стал закрывать, смотрел и смотрел на высокий белый Тонькин лоб. Смотрел и — досмотрелся: неожиданно встало перед ним кругленькое, тихое Степино лицо. Тонька, как почувствовала чего, — прынула из его рук, голову гордо вскинула и медленно, павой, к своей калитке пошла. А он догонять и останавливать ее не стал...

И в первый раз Ефимка не своим проулком домой направился, а мимо подворья Головиных пошел. Постоял, издалека заглядывая в темную прорву их окон, повздыхал о чем-то, раскуривая самокрутку из домашнего самосада...

Потом путина началась. Тут уже не до игр и вечеров было — успевай только рыбу принимать да в рыбном цехе обрабатывать. И вот здесь, в холодном, но солнечном цеху, ворочая большие баки, перебрасывая к ним лед и соль, Ефимка окон-

чательно утвердился в том, что Степа не дает ему покоя. Он еще только к рыбной базе подходит, а уже думает, видит она его сейчас или нет из своего разделочного цеха. Выдастся свободная минутка, и он уже наверху, на пирсе, поближе к разделочному цеху, — авось Степа промелькнет. Подойдет плашкоут с рыбой, Ефимка вроде бы на него залюбуется, а сам выглядывает невысокую, ладную фигурку Степы среди женщин, вставших с ножами в очередь к точильщику.

И только один раз случай ему помог: отправил его бригадир из икорного цеха бочки выкатывать. А Степу эти бочки маркировать заставили. Вот они и сошлись нос к носу. Ефимка, сам по себе не из робкого десятка был, на язык никогда не обижался, а тут... Хочет шутку сказать — такая ерунда получается, что самому стыдно, глазами бы Степу ожечь — глаза на нее не поднимаются. Только-то и смог, что бочки чуть в щепки не порасшибал. «Вы бы поаккуратнее с бочками-то, Ефим Петрович», — сказала она ему. И вот только она с ним заговорила — с Ефимки вся робость и сошла. Радостно ему стало, легко, ног под собою не всчуял. «Видь, Степа, седни на улку, — попросил он ее. — Я тебя ждать буду». Степа отвернулась, а потом маркером по бочке как ахнет — впору Ефимке уже просить ее поостеречься. «А зачем это?» — наконец выдохнула она. — «Дак это, поговорить надо и вообще...» — «А Тоня вам что на это скажет?», — спросила Степа и отвернулась, вроде бы вся в безразличии к тому, что он ей на это ответит. «А что она может сказать? — удивился Ефимка. — Я к ней арканом не привязан... Она мне кто?» «Нехорошо получится, — выпорхнули у Степы колючие слова, — от одной да сразу — к другой... Ни мне чести, ни вам...» «Степа! — удивился он. — Да ведь я ей не жених и никаким словом мы с ней не связаны. Хоть ее спрости». «А на деревне другое думают, — потупилась Степа, — про вашу скорую свадьбу говорят».

Бочки уже давно кончились, и пора им было на свои рабочие места возвращаться. Ефимка, не ожидавший от Степы такого холодного приема, на прощание чуть ли не враждебно спросил: «Значит, не выйдешь?» «Вам легко спрашивать, — глубоко вздохнула Степа, — а мне какво Тоне дорожку перебегать?» И он впервые поразился: как эта соплюха, почти на четыре года младше него, вдруг так взросло и серьезно рассуждает. «Ну, тогда и ладно», — обиженно сказал Ефимка и к своему посолочному цеху пошагал. Шагал и думал, что никогда больше он к этой соплюхе не подойдет и разговоров с нею до конца жизни не будет вести.

Однако к вечеру Ефимка слегка успокоился, а поразмыслив, пришел к неожиданному выводу: права Степа. Он сам — дурак, а она на все сто права... Но сознаваться в этом и каяться перед девчонкой он, конечно же, не собирался, не так заквашен был. Но лишь только стемнело и солнце утонуло за широкими амурскими плесами, Ефимка вроде бы ненароком мимо дома Головиных прошагал. Не специально, конечно, куда там: просто на минутку к приятелю, живущему неподалеку, заглянул. Гришка удивился его визиту, но смолчал, самосадам угостил. Посидели, подымили. Ефимка вроде бы случайно сказал приятелю: «Молодежь-то у нас как поднялась, чисто конопля за огородом». «А чего же, растут, куда им деться», — равнодушно ответил Гришка, поплеывая в сторону поднимающейся над сопками луны. «И эта, Головина, совсем ведь соплюха, а туда же», — через силу выдавил Ефимка. «А куда же ей еще? — зевнул Гришка и вдруг спросил: — Ты этой осенью сватов будешь засылать?» «Сватов? — покраснел Ефимка. — К кому?» «К Тоньке, конечно, к кому же еще?», — удивленно взглянул на него приятель...

Возвращаясь домой, Ефимка попридержал шаг напротив Головиных, тщетно прислушиваясь к тихо живущему в ночи дому. Потом, осмелев, присел на скамейку возле палисадника, осторожно закурил и, пряча самокрутку в рукаве, покурил. Сердце колотилось в груди, во рту было горько от курева, к тому же какая-то непонятная не то грусть, не то обида томили Ефимку. Казался он сам себе обделенным



и забытым, никому в этой жизни не нужным. Знать бы Ефимке, каким-то чудом угадать, что Степа сидит в это время в своей спальне у окна, наблюдает за огоньком его сигарки и страшно боится, что Ефимка стук ее сердца услышит.

Но узнает он об этом ой как не скоро... Маялся Ефимка на чужой скамейке и злую думку таил: вот возьму и назло Степе зашло после путины к Тоньке сватов. Тогда вспомнит, как он ее выйти на свиданку просил. Хорошо, ночи были короткие, а то бог знает до чего мог бы додуматься отчаявшийся Ефимка...

Закончилась путина и наступило благодатное бабье лето. Благодатное потому, что порою месяц, а то и поболее, стоят на Амуре тишайшие солнечные дни, щедро напоенные запахами и грустью. Тепло в эти дни, гнуса уже нет, дали глубокие, солнце ходит по небосводу еще высоко, в общем — благодать.

Мужики в это время охотятся «по перу», то есть — птицу бьют. А налетает ее на озера и протоки, в старицы и заводи тьма-тьмушая. Ефимка на точность выстрела с пацанов удачливым был. В первый-то раз дал ему отец ружье и всего три патрона, а он пять уток домой приволок. Не поверил тогда ему батя, решил, что он, не помня стыда и совести не зная, чужую добычу подобрал. И уже было за опоясок взялся батяня, да, спасибо, мамка вмешалась. Сходи, говорит, завтра вместе с ним да и проверь, а наказать, если что, всегда успеешь.

Послушался батяня и на следующую утреннюю зорьку они уже вместе пошли. У Ефимки — опять три патрона. Пополз он между кочек к небольшому озерку, где беззаботная утка шилохвость ряской кормилась. Подкрался и стал выцеливать, а глаза и руки бояться, угадывая за спиной затаенное батянино дыхание. Но — ничего, выцелил он сразу трех уток, в одну линию вытянувшихся вдоль камышей, и ударил крепким дробовым зарядом. Две утки на месте остались, а третья поднялась было на крыло да тут же и свалилась в траву. Пока Ефимка подранка нашел и шею ему свернул, батя, скинув штаны, битую дичь добыл из воды. «Ишь ты, ядрена-Матрена», — только и сказал батяня, недоверчиво взглядывая на сына...

Вот и теперь Ефимка столько дичи домой каждый день приносил, что мать едва успевала управляться с нею — оципать, выпотрошить, осмолить на огне и в ледник определить. Тонька раза два к нему мальчонку с записками присылала, он не откликнулся, на свидание не пошел и к избе-читальне вечерами не заглядывал. Тихое, жуткое чувство одиночества сладко томило его в эти дни. Он был счастливым своим мнимым несчастьем, которое, конечно же, придумал сам для себя...

А уже близилась пора свадеб, уже прихорашивались и оживали записные свахи, мазали оси жирным солидолом на свадебных ходках, доставали из сундуков наряды и прочие украшения невесты. И тут судьба в очередной раз пошла навстречу страдающему Ефимке. Возвращался он как-то с утренней зорьки и по-за озером столкнулся нос к носу со Степой Головиной. Кажется, выйди навстречу из озера водолаз, он меньше бы удивился... «Здравствуйте, Ефим Петрович», — потупилась Степа, тонким прутиком околачивая резиновый ботик. «Здравствуй, значит, Степа», — степенно ответил он. «У нас корова прихворнула, — не поднимая головы, стала объяснять Степа. — Мы ее в стадо не выпустили. А дядя Гриша пришел, укол поставил, и папаня велел отогнать коровку на пастбище... Вот я и...» — Она и еще что-то говорила, а Ефимка уже не слышал ее и ничего вокруг не замечал. Он вдруг взял да и шагнул к ней навстречу, руки ее в свои взял и чуть не умер, когда услышал, как Степа встречу ему подалась...

Той же счастливой осенью они поженились. А ровно через год у них Нина народилась, и все детство крепенькая и здоровая была. Ефим Петрович ее в шутку Атлантой называл. А она и в самом деле другой раз как встанет, руки в локтях согнет, жилки у нее на бицепсах подтянутся, животик уберется — чистый атлант. Очень купаться любила, минутки на месте усидеть не могла.

Четыре года спустя Петро своим чередом о себе заявил: крикун был страшный и здоровьем слабее Нинки оказался. Но ничего, со временем окреп, а теперь только что подковы руками не гнет. Еще через год, уже в тридцать восьмом, у Степы мертвый мальчик родился... Задохнулся он где-то на путях к свету божьему, а задохнувшись, чуть было и мать свою, родительницу, с собой не увел. В те времена роды-то в деревнях бабки принимали. Чуток подправить, тужиться помочь — это они могли. А как что посерьезнее — только на божью помощь и полагались...

Вот тут, в эти роды, Ефим Петрович и определил свое полное и окончательное отношение к Степе. Тогда только и понял всю глубину и ширь беды, которая подстерегала его. Первый седой волос — тому свидетель.

В тридцать девятом Степа последний раз рожала. Тут он ее уже заранее в районную больницу, под наблюдение врачей, определил. Девочка родилась. И опять крепенькая, звонкоголосая, веселая была. Они и назвали ее нежно да аккуратно — Тая, Таисия, значит... Но до Таисьи она так и не поднялась. На втором году жизни, перед самой войной с немцем, в два дня от малопонятной лихоманки скончалась. И это надо было видеть и пережить...

Он потом, на войне уже, раненый-перераненный, в самые смертные минуты лишь об одном думал: детей, ребятишек оставшихся, спасла бы Степа для жизни, а больше ничего и не надо... А жизнь, она ведь потихоньку идет, и человек-то как в ней живет: осилить бы только вот этот бой, не помереть бы только от этих ран, выйти бы только к своим из окружения, хоть с осколком внутри, но только бы домой вернуться. А там уже новые задачи подоспели, мирные: отстроиться бы всем миром, хлеба вдоволь деткам припасти, выгучить бы их да не злыми и вздорными после себя оставить.

И вот уже все — предел человеческому веку! Природа тебя, на земле пожившего, обратно требует... И никому этого круга не порушить, никому вырваться из него не дано, а посеуму и горевать незачем, живущих людей в печаль вгонять понапрасну...

— Ты что-то особенное чувствуешь, аль нет? — спросила Степанида Ильинична и впервые так внимательно и всезнающе посмотрела на него, что Сыромятин от готового ответа поперхнулся.

— Да, это... Как и сказать-то — не знаю...

— Прячешься от меня, Ефимушка? — с упреком спросила Степанида Ильинична. — А того не понимаешь, что коль за всю жизнь юлить не научился, так теперь-то откуда в тебе эта наука возьмется?

Она помолчала, внимательная и строгая, в опушке из золотых волос, подсвеченных солнцем через окно.

— Я, Ефимушка, твою-то кровь из кухни учуяла, а ты все прячешься от меня, — горестно повторила она. — Всю-то жизнь мечтала я, что как бы хорошо и ладно — вместе уйти, разом, никому и дня не уступив...

А что, Петрович? Дети выросли, внуки уже поднялись, чего нам еще тут-то надо? Что надо было — сделали, а и чего не сделали, теперь не наверстаешь... Жалко только, что внуки наши, Ефимушка, как-то несуразно живут. Людмила вот — без мужа осталась, зато свой характер выдержала. А кому он нужен, характер-то ее, гос-споди... Вот теперь и живет со своим характером заместо мужа. Да кабы одна — ладно. А ребятишки-то при ней, они за что страдают? Они-то почто ее соломенное вдовство делят? — Горестные морщинки сошлись в уголках глаз Степаниды Ильиничны, рот скорбно поджался, и вся она, огруженная от ревматизма без движения, уставшая от своего тяжелого тела, была до боли близка и понятна Сыромятину. — А вот попрем мы, Петрович, почто бы ей к своим корням, к своим истокам не вернуться в родительский дом? Дом у нас еще крепкий, огород

большой, сад какой-никакой... Живи себе и радуйся, детей на отцовской земле к жизни поднимай, — Степанида Ильинична глубоко вздохнула и горестно добавила: — А ведь не поедет Людмила, не схочет она обратно в деревню...

И с такой болью она это сказала, так безнадежно подняла и опустила плечи, отстраненно глядя куда-то в угол, за печь, что Сыромятину не по себе стало. Обвел он горницу взглядом и впервые жестко подумал: дом-то ведь вместе с нами помрет...

Отродясь такого на Руси не бывало, а теперь будет — некому после них родовое гнездо блюсти, пашню обрабатывать, над великой рекой хозяйствовать.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Кажется, перед обедом (он иногда переставал ориентироваться во времени), на несколько минут проглянуло тусклое осеннее солнце, и сразу же все преобразилось кругом. Даже Куликов не мог этого не заметить: в комнате посветлело, угрюмые, молчаливые предметы вдруг ожили и наполнились теплом летучего света, отраженно вошедшего и в его плоть, измученную безрадостной серостью последних дней.

Викентий Изотович пошевелился, скрадывая глазами тонкий солнечный лучик, бог весть как пробившийся сквозь многослойные облака и каменные джунгли города. Толщиной не более вязальной спицы, этот луч не без усилий просверлил комнатный полусумрак, пока не уперся в противоположную от окна стену, оклеенную финскими моющимися обоями. Но и этого призрачного лучика, протянутого через комнату словно бельевая веревка и отраженного в мириадах мельчайших частиц, а потому казавшегося пушистым, оказалось достаточно для того, чтобы Куликов ожил и захотел переменить свое положение в постели. Упираясь ногами и одновременно подтягиваясь на локтях, он не без труда принял полусидячее положение, отдышался и неожиданно улыбнулся своему волнению перед крохотным снопиком света.

Так он сидел, откинувшись на подушки, и наблюдал скоротечную жизнь солнечного зайчика и, кажется, впервые осознал, почему так близки между собою старики и дети. Дети, впервые все познающие, еще совершенно свободные от всевозможных правил и условностей, и старики — уже свободные ото всего и прощающиеся со всем...

Увы, минут через десять пятнышко на стене стало меркнуть и вскоре исчезло совсем, словно бы растворилось в воздухе. Викентий Изотович повел взглядом от стены к окну и увидел, что в окна вновь стучится дождь, на мягких лапках стекая на жестяной ржавый слив. В комнате помрачнело, предметы тут же остыли и отодвинулись каждый в свой темный угол. Еще какое-то время спустя скрипнула дверь и в образовавшуюся щель робко просунулась голова Евфимии. Внимательно взглядевшись в Куликова, она одними губами прошептала:

— Звонит Елена Викентьевна...

— Чего она хочет? — с усилием повернул голову Куликов.

— Поговорить с вами.

— Так что же ты стоишь? — как мог, возмутился Викентий Изотович. — Неси сюда аппарат.

— Я думала, вы еще отдыхаете, — все так же шепотом сказала Евфимия.

— Я, голубушка, теперь двадцать четыре часа в сутки отдыхаю, — проворчал Куликов. — Куда больше-то?

— Хорошо, я сейчас...

Трубка телефонного аппарата была теплой, и Викентий Изотович понял, что Евфимия довольно долго разговаривала с дочерью. Он невольно подумал, что она не выдержала и рассказала дочери о ночном происшествии, но на его вопро- сительный взгляд Евфимия отрицательно покачала головой.

— Папа! Здравствуй, дорогой! — дочка всегда звала его так, на французский манер — с ударением на последнем слоге.

— Здравствуй, Леночка, — обрадованно ответил он, узнавая нотки родного голоса.

— Как ты себя чувствуешь?

— В принципе, неплохо, — приободрился Куликов. — В больнице, Леночка, меня бы одними уколами уже на тот свет отправили...

— Вот новости, — сухо отреагировала дочка.

— Я, разумеется, шучу, — поспешно заверил ее Викентий Изотович.

— А как то лекарство, что я тебе через Луизу передала?

— Замечательно помогает, — Куликов покосился на ярко раскрашенную упа- ковку, которую пока не открывал.

— Еще бы! — довольно воскликнула дочка. — Я его через болгарское по- сольство достала. Кстати, мне пообещали одну умопомрачительную новинку... Говорят, мертвых поднимает. Я тебе потом пришлю.

— Спасибо, — севшим голосом ответил Куликов.

— Ну что ты, папа, это мой долг... Кстати, Луиза тебе ничего не говорила?

— О чем?

— Понимаешь, папа, я замуж выхожу...

— Как же — говорила! — попытался обрадоваться этому событию Викентий Изотович. — Я тебя от души поздравляю.

— Спасибо тебе, мой дорогой... Нас сегодня расписывают, а потом мы едем к нам на дачу. Человек пятнадцать-двадцать, не больше... Там мы все это скромно и отметим.

— А ты сюда разве не заедешь? — упавшим голосом спросил Куликов.

— Понимаешь, папа, мы никак не успеваем, — торопливо заговорила дочка. — Вот хоть разорвись — не получается. Надо ведь все закупить и приготовить — на даче у нас ничего нет. А тут еще декоративные свечи я никак не могу достать... Короче — полнейшая запарка...

— Я ведь его даже не видел, — тускло сказал Викентий Изотович.

— Еще увидишь! — бодро ответила Елена. — Обыкновенный мужик. Работает на заводе. Инженер... Рост — сто семьдесят восемь сантиметров. Обувь — сорок третий размер. Лысоват... Что еще? Ах, да — женат не был. Всю жизнь любил меня, представляешь?

— Как-то смутно...

— Он тебе понравится, папа, уверяю.

— Возможно.

— Ты что, обиделся? — Куликов понял, что Елена прикрыла ладонью микро- фон и что-то кому-то сказала. — Ну, папочка, дорогой! Ты же у меня всегда был такой умница и все понимал... Ну, в самом деле — цейтнот!

— Ты бы могла взять в помощь Евфимию...

— И ты всерьез думаешь, что эта старая мегера бросит тебя хотя бы на час? Не смей меня, папа, — в голосе Елены уже явно прорезалось нетерпеливое раз- дражение. — Да и что она понимает в современной кухне? У нас же гости будут не из деревни Марфино: их принять надо, и принять на высшем уровне... Скажу тебе по секрету, что один из друзей Юрия — первый советник посла в не самой маленькой западной стране, специально из-за рубежа к нам на свадьбу прилетел...

— Значит, Юрия Степановича не забываешь? — автоматически спросил Куликов.

— Я двадцать лет с ним прожила, я дочку от него вырастила, почему же должна забывать?

— А на кладбище у него давно была? — не удержавшись, спросил Куликов, чувствуя усталость и пустоту в груди.

— Ну, знаешь ли, папа... В такой день ты заводишь довольно странные разговоры... Спасибо, конечно, что напомнил. Я ведь так и знала, что ты меня чем-нибудь порадуешь, что-нибудь в этом роде придумаешь... Вот, — отворачиваясь, вновь сказала она кому-то, — испортил мне настроение...

— Я не хотел, извини, Ленушка, — пробормотал в трубку Куликов. — Извини, пожалуйста...

— Тебе-то что, — кажется, Елена всхлипнула. — Наговорил ерунды и забыл... А мне-то каково теперь гостей принимать? С каким настроением я к ним выйду?

Евфимия, поливавшая в это время цветы на подоконнике, не заметила, как полилась через край глиняного горшка подкрашенная марганцовкой вода.

— Успокойся, Ленушка, — прошептал Куликов, откидываясь на подушки и медленно опуская руку с трубкой.

Оставив лейку на подоконнике, подбежала Евфимия, подняла трубку и опустила на аппарат. Поспешно сунула Куликову стакан с водой и от греха подальше унесла телефон в прихожую. Там, слегка поколебавшись, выдернула вилку из розетки...

Светило яркое весеннее солнце. Небольшая железнодорожная станция безнадежно утопала в грязи. Викентий Изотович, ступив с подножки пассажирского поезда на туго утрамбованную землю, вдохнул полной грудью какой-то особенный, горьковатый, что ли, воздух. Высоко в небе носились стрижи, под коньком вокзальной крыши хлопотали юркие ласточки. Скворцы нотными палочками перечеркнули телеграфные провода. И такая тишина стояла вокруг, такой мир и покой был в узкой, извилистой улочке, убегавшей в сторону поселка от вокзала, что Куликов, переполненный тревожным ожиданием встречи, невольно насторожился, прислушиваясь к этой неестественной тишине.

Распровавшись с надежным железнодорожным балластом, он ступил в жидкую черную грязь и направился в сторону деревянного здания вокзала. Здесь, встретив старого казаха-железнодорожника с тонкой полоской висячих усов под слегка приплюснутым носом, Куликов спросил:

— Отец, будь добр, подскажи, как мне добраться в Бескамышку?

Казах, разглядев на нем знаки отличия, разволновался. Минут пять он страстно размахивал руками, выкрикивая русские слова вперемешку с казахскими, в результате чего Викентий Изотович понял только одно, что прежде всего ему надо добраться до чайной.

Домишки в поселке были в основном саманные, низко вросшие в землю, так что Викентий Изотович, шагая мимо них, спокойно мог разглядеть весь тот хлам, который забрасывали хозяева на плоские крыши: сломанные табуретки, тележные оси, пустой каркас от зыбки, корзины с прохудившимся дном, обрезки досок и даже — однолемешный плуг. Огороды еще не пахали, и земля, вылежавшая свой срок под снежной шубой, облегченно дышала. Мальчишки, с ног до головы перепачканные грязью, рыли каналы и пропускали воду из одной лужи в другую. Завидев его, в офицерской форме, с небольшим вещмешком за плечами, они как по команде бросали все свои дела и пристально разглядывали незнакомого офицера, провожая его ревнивым взглядом, силясь угадать, кому из их сверстников это такое счастье привалило. А Куликов, глядя на них, невольно сравнивал каждого

с Володькой, которому без него уже сравнялось восемь лет и которого он в таком серьезном возрасте даже представить не мог.

Вокруг чайной у коновязи стояло много повозок, сновали какие-то люди в дождевиках, твякали из-под телег и бричек оробевшие деревенские собачки, всхрапывали лошади, косясь друг на друга большими, влажными глазами.

На вопрос Куликова о бескамышенских возчиках, девчушка в берете и больших резиновых сапогах, с явным украинским акцентом ответила: «Тильки бул их чоловик, а таперича, видно, до элеватору поихал». И встречный любопытствующий вопрос: «А вы ктось такой будете?» «Долго рассказывать, девочка», — усмехнулся Куликов. «Яка ж я вам девочка? — удивилась разговорчивая незнакомка. — У меня самой вже девочка да хлопчик...»

— Чегой-то военный спрашивает? — крикнул издалека мелкого роста мужичок.

— Та вин до Бескамышенки оказию шукает, — звонко ответила хохлушка.

— До Бескамышки? — мужичок крутнулся на месте, ткнул куда-то вперед кнутовищем и обрадованно сообщил: — А вон, товарищ военный, ихний председатель в кошеве поехал.

И мгновенно все пришло в движение: кто-то кричал, кто-то бежал вслед за кошевой Бескамышенского председателя, мелкий мужичок засвистал в четыре пальца, от усердия приседая на коротковатых ногах, и в результате председателя все-таки остановили...

— Значит, едете своих забирать? — спросила, когда уже познакомились и немного разговорились, председатель Дарья Семеновна. — Ну и слава богу... Хотя, честно скажу, в колхозе каждая пара рук на счету. А Капа трактор знает. Другие-то бабы ездить научились и ладно, а вот как поломка какая — только на Капитолину Егоровну и надежда. Своих-то трактористов всех фронту отдали, сами знаете...

— Знаю, — подтвердил Викентий Изотович.

— А сейчас посевная начнется, трактора в работу пойдут... Даже не знаю, что я буду без Капы вашей делать...

— Из МТС специалиста пришлют.

— Как же — прислали, — покосилась на него Дарья Семеновна, женщина статная, крупная, с густыми черными бровями, которые и в самом деле были похожи на два плавно изогнутых крыла. — Думаете, мы одни такие? В районе сорок три колхоза и все по трактористам плачут... Переселенцев-то к нам натолкали, считай, в каждой хате живут, а толку от них никакого — одни бабы с ребятишками... А в райкоме партии нас по головам считают, и давят на нас: мол, людей у вас много, а работы даете мало...

Женщина говорила и говорила о своих бедах и заботах, которые хочешь не хочешь, а приходилось ей, обыкновенной деревенской бабе, тащить на своих плечах. А председатель, хороший был мужик, еще из пятитысячников, убит под Курском. Своего мужика в сорок первом в Подмосковье потерял. Сразу одиннадцать мужиков Сталинград взял, трое в Севастополе сгинули, да еще трое без вести пропали...

Когда выдалась пауза, Куликов не утерпел, спросил:

— Ну а как там мои поживают? Ребятишки как?

Дарья Семеновна завозилась в ходке, выдернула из-за голенища кнут и звонко хлестнула резво бегущего серого мерина. Потом, как показалось Куликову, недовольно сказала:

— А что, живут как все... Им легче против других эвакуированных — к родне попали. Чего не жить-то?

— Ребятишки, наверное, выросли? Я ведь их два года не видел...

— Ну, так сейчас увидите, немного уже осталось. Во-он тот колок проедем и уже нашу Бескамышку видно будет. От райцентра по прямой всего-то восемнад-

цать верст. Когда сухо, тепло, можно и пешочком с удовольствием прогуляться, а когда вот так развезет... — Женщина вдруг резко оборвала себя, повернула к побледневшему Куликову круглое красивое лицо и горестно спросила: — Да что же это я, ос-споди?.. Разве такое скроешь? Помер ваш сынок, Викентий Изотович, месяц назад схоронили...

Он даже и слова в ответ не промолвил, лишь до боли стиснул зубы, с подозрительным недоверием глядя в лицо Дарьи Семеновны.

— Они на озеро пошли, ребятишки-то, — рассказывала женщина. — Завсегда весною ходят целой ватагой. А сверху, на льду, уже вода стала появляться. Днем вода, а ночью подморозит — тонкий, ровный, как стекло, ледок. Вот ваш Володька по этому льду покатился, а под ним прорубь была, он и провалился... Оно бы, может, и ничего, да пока он выбрался из проруби — валеночки потерял. Мокрый, босой, домой по снегу побежал, ну и, понятно, сильно простудился. Двухстороннее воспаление легких у него получилось... А тут наша речка вскрылась, мосток снесла, в район не выбраться. Настойками из трав поили, таблетками, у кого какие были, — не помогло... В пять дней и сгорел мальчонка... Потом уже и Капитолину Егоровну пришлось спасать. Не в себе была. Если бы не Леночка, то и не знаю... А тут письмо ваше из госпиталя подоспело. Шибко оно ей помогло... Так что, товарищ подполковник, такие вот у нас дела. Горе, как видите, оно не только по фронту шляется, его и здесь хватает...

Зябко стало Куликову, холодно под шинелью, одиноко в мире.

— У нас еще ничего, колхоз крепкий, потому как председатель толковый был, на своем настоять умел, — смутно, издалека доносился голос Дарьи Семеновны. — А в других-то селах от голода люди помирали, а всего чаще — животами детишки исходили. Наголодаются, а потом абы чего набузуются и — готово дело... Так-то одна мать, это уже в соседнем районе, сразу троих схоронила. Каково! Он, проклятый фашист, не только на фронте лютует, он и сюда к нам добрался, и еще дальше ушел, аж до самого края земли нашей... Везде горе от него, Викентий Изотович, по всей земле. И только одна надежда у нас, что добьете вы гада, удавите океанного изювера в его собственном логове... Только этим и живем, товарищ подполковник, силы жить находим...

Слушал и не слушал Викентий Изотович председателя колхоза, то и дело по-нукавшего лошадку. Слова вроде бы пробивались к его сознанию, а перед глазами Володькино лицо стояло: «Папка, а ты мне наган с фронта привезешь?». И словно бы это уже не Володька, пятилетний сынишка говорил, а кто-то другой, с тайной метой и трагическим предназначением во всей шупленькой, детской фигурке...

Словно бы уже тогда сынишка свой земной предел чувствовал, а он, Куликов, ничего этого не понял и особого внимания, особого отношения к кровинке своей не проявил. И теперь вот — необыкновенно острое чувство запоздалой вины, боль и неутешное сознание, что уже никогда вину эту искупить невозможно и ошибку свою исправить — нельзя. Что это крохотное существо, названное от рождения Володькой, ушло куда-то в иную жизнь, ушло безвозвратно, посреди голода, человеческой ненависти и обвального грохота войны. Ушло это родное существо так больно, так тяжело, словно бы вышагнуло из сердца самого Куликова, оставив после себя развороченную рану, залечить которую — нет земных средств...

— И мой вам совет, Викентий Изотович, — говорила Дарья Семеновна, направляя мерина на шаткий деревянный мосток через речушку. — Оставьте вы ее пока здесь, не трогайте... Она уже свыклась с нашей жизнью и что для важного дела нужна — хорошо знает. А в Москву вы ее привезете да и оставите, так ведь? Ну вот... А у нас она будет и при деле, и при Володе вашем... Я понимаю так, что умер-то он еще не весь. Его душа еще живет над землею, и мать ее, душу эту,

чувствует. А как же, Викентий Изотович, именно так... Старики не зря говорят, что душа человеческая после смерти ровно сорок дней возле близких людей обретается... Даст бог, вы сами душу вашего Володи еще нынче встретите...

Куликов удивился и внимательно посмотрел на Дарью Семеновну.

— Да нет, Викентий Изотович, — усмехнулась она, — в бога я не верю. Какой уж тут бог, если вокруг такое творится... Это какое каменное сердце ему надо было бы иметь, чтобы до таких страстей людишек допустить? А вот душа человеческая, на мое понятие, существует и промеж нас и после смерти еще какое-то время живет. И память нашу тревожит, и в трудную минуту ободрение нам дает. А как же иначе? Иначе нельзя... Мой-то, Федор, два года как помер, а душа его все еще при мне, как в колыбели, покоится... Заплачу иной раз — утешит, силы кончаются на все наши беды и невзгоды смотреть — поможет, сердцу окончательно от горя очерстветь не дает...

И так вот у каждой вдовой бабенки, а иначе нам бы не сдюжить, всю работу, свою и мужскую, не поднять... Вот мы и приехали, товарищ подполковник. Во-он домик-то Селиверстовых, сродственников ваших, под высокой крышей который... Будет время — в правление к нам обязательно заходите.

— Спасибо, — Куликов спрыгнул на землю, перекинул за спину вещмешок и медленно побрел к указанному дому. На всю жизнь запомнил он именно в этот момент вошедший в него полынный запах степей, который наносил в деревню легкий весенний ветерок.

— А вон и ваша Леночка бежит, — услышал он за спиной голос Дарьи Семеновны, оглянулся и увидел бегущую через улицу девушку. В двух шагах от него она резко остановилась, прижала руки к груди и так вот стояла, вопросительно разглядывая его. А Куликов, ошарашенный неожиданной зрелостью дочери, вдруг враз разглядел каждую ее черточку, близкую и родную, лишь слегка подправленную возрастом за минувшие два года. Он начал разворачиваться к ней, а она в это время пронзительно вскрикнула «папа!» и бросилась ему на шею...

Через два дня Куликов уезжал. Вернее будет сказать — уходил. В колхозе началась посевная, и просить лошада до станции он не захотел. Был солнечный, очень теплый день. Над пашнями струилась легкая дымка испарений, вдоль вспоротых лемехами черных борозд важно вышагивали грачи, изредка вскидывая серые, долгоклювые головы. Всюду — в воздухе, на земле, в ветвях деревьев, на крышах и проводах — звенели птичьи голоса. От их радостного, неумолчного гомона как-то просторно и светло просматривались дали, приглушеннее звучали в памяти беспощадные залпы войны...

Миновали редкий березовый перелесок и вышли к мосту. Лена, по-взрослому державшая отца под руку, сбежала к воде, ополоснула ладони и разгоряченное лицо.

Капа, угадав его мысли, тихо сказала:

— Совсем уже взрослая она у нас, хотя по годам — еще ребенок.

— Это время заставляет их раньше взрослеть, — грустно ответил Куликов и неожиданно добавил: — Время и мы, не сумевшие уберечь их от войны...

— Береги там себя, — вдруг страстно попросила Капа. — Умоляю тебя — береги!

— Я буду писать, — пообещал Куликов. — Как можно чаще...

— Леночка! — крикнула Капа. — Иди прощаться с отцом.

И вдруг заплакала и припала к его груди, до конца осмыслив, что именно сейчас, сию минуту, он уйдет и, не дай господи, может — навсегда...

— Папа, приезжай за нами скорее, — серьезно попросила Лена, целуя его в щеку и взросло глядя большими печальными глазами. И он никому бы не поверил, что грусть когда-нибудь покинет ее глаза...



Сапоги гулко стучали по дощатому настилу моста. Он переходил на другую сторону реки, плечами чувствуя взгляд дорогих его сердцу людей. Он переходил через мост, как через некий рубеж, разделивший его жизнь на две половины: до этой встречи с родными и после нее...

Ступив с моста на землю, Куликов оглянулся и помахал рукой.

— Папа! Возвращайся скорее! — прокричала на той стороне моста дочка, и в голосе ее были слезы.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Викентий Изотович, выпейте сок, — Евфимия протягивала ему высокий стакан с яблочным соком.

— Не хочется, — Куликов отвернулся.

— Надо выпить, — твердо сказала Евфимия.

— Ну, коль надо, — уныло согласился Викентий Изотович, подтягиваясь на локтях и чувствуя неподъемную тяжесть своего тела.

— Обязательно надо... А минут через двадцать будете обедать.

— Нет у меня аппетита, дорогая... Не хочу я есть, — медленными глотками отпивая сок, проворчал Куликов, косясь на бледно-мучное лицо Евфимии.

— Нет — так будет, — решительно заявила женщина, наблюдая, как неохотно, через силу, он пьет. — Я ваш любимый гороховый суп сварила, со свежей свиной... Ну и паровые котлеты с гречкой. Как же вам не покушать-то?

— Любимый у меня теперь, Ефимушка, только покой, — отдавая стакан, уныло сказал Куликов. — Все остальное — в прошлом.

— Это вы себя так настраиваете, Викентий Изотович. Одни фантазии это и больше ничего... А вот как принесу я вам миску супа, да со свиным ребрышком, вы и поймете сразу, что есть хотите.

— Ладно, неси, — вздохнул Куликов. — Ты ведь все равно не успокоишься, пока не принесешь.

— Не успокоюсь, Викентий Изотович, это верно...

Евфимия Селиверстова была той самой дальней родственницей, у которой провела Капа все годы эвакуации. И хоть была она на четыре года младше Капитолины, а приходилось ей тетей, чему в свое время они немало удивились. И так сдружились-свыклись за четыре года Капитолина с Евфимией, что и двух лет в разлуке не прожили: в сорок седьмом Викентий Изотович во второй и последний раз съездил в Бескамышку и перевез Евфимию в Москву.

В Бескамышке встретил он свою давнюю попутчицу, председателя колхоза Дарью Семеновну. За минувшие годы женщина сильно сдала, в некогда черных как смоль волосах появились седые пряди. Устало спросила Куликова: «Своих перевезли, а теперь и наших забираете на столичные хлеба?»

Куликов, возвращавшийся с кладбища, вдруг вспомнил ее странные слова о душах умерших, которые живут среди людей и людям помогают. Вспомнил имя ее мужа, погибшего в Подмосковье, и поразился внезапной догадке: его душа, видимо, уже не сопутствовала этой женщине, не крепила ее в многочисленных трудах...

«Вернулись фронтовики, теперь вам, наверное, полегче стало?» — спросил Куликов. «А кто вернулся! — горестно поджала губы женщина. — Безрукие да безногие... Да и этих — два с половиной человека. Другое дело — довоенные хлопчики в силу входят. Вот на них-то сегодня все и держится...»

Она уходила вдоль по улице, по-мужски сутуля широкую спину в ватной фуфайке с оторванным хлястиком, и уже по одному этому болтающемуся хлястику

он понял, как смертельно устала Дарья Семеновна. Она крепилась, тянула жилы из себя и колхозников, пока шла война, в надежде передохнуть и вновь стать обыкновенной бабой, слезливой, беспомощной, в туфлях на каблучке и нарядном жакете сразу за порогом войны. Но война давно кончилась, а мечты ее так и не сбылись: она вынуждена была и дальше оставаться в роли колхозного мужика, силам и возможностям которого нет избытка. А годы уходили, и теперь она уже хорошо понимала, что в счастливую женскую жизнь ей уже не успеть. А поняв это — тут же состарилась и потеряла ту родственную душу, которая так верно и долго поддерживала ее...

Спустя годы Викентий Изотович убедился, сколь трагична была женская доля этого поколения — редко кто из них до пенсионного возраста дотягивал. Они, эти прекрасные женщины довоенного поколения, все вынесли, выстояли, умудрились детей поднять, к делу определить, и вслед за своими мужьями, геройски павшими на ратных полях, тихо и незаметно ушли, так и не осмелившись ничего себе взамен погубленной молодости попросить. Не знали они модных одежд, кирзовые да резиновые сапоги так и не успели сменить на туфли, доставшиеся уже их дочерям, и немного до наград не дожили, которыми запоздало (как всегда!) решилось родимое Отечество отметить их подвиг в тылу...

Медленно уходила от него Дарья Семеновна по грязной деревенской улочке, сутулясь от забот, устало передвигая ноги, и уходила теперь уже навсегда. А он, высокий, все еще стройный, подтянутый, окрепший за два года мирной жизни, стоял и с болью смотрел ей вслед, еще не до конца осознавая всю безысходность ее судьбы, но готовый броситься за нею, чтобы попросить за что-то прощения...

— А вот и супчик, Викентий Изотович, — вошла с миской супа Евфимия. — Кушайте на здоровье, пока горячий.

— Послушай, Фимушка, в каком году умерла Дарья Семеновна? — хмуря седые брови, спросил Куликов.

— Это какая? Председательша наша, что ли? — удивленно взглянула на него Евфимия.

— Ну да, — нетерпеливо сморщился Викентий Изотович.

— Давно уже, — Евфимия подвинула ближе к нему тарелку с супом, сбоку, на салфетку, положила глубокую серебряную ложку и вилку. — Кажется, в шестьдесят пятом...

— Дети у нее были?

— А как же, трое. Две девочки и мальчик... Да вы кушайте, Викентий Изотович, простынет суп-то... Девочки, значит, разлетелись кто куда. Одна, кажется, в Ленинграде, музыку преподает. Вторая за офицером замужем, и где она теперь — не знаю... Вам хлеб-то принести?

— А мальчик? — нетерпеливо спросил Куликов. — Мальчик ее где?

— Теперь уже давно не мальчик, — улыбнулась Евфимия. — Теперь он Иван Федорович Крутов, директор Бескамьшенского племсовхоза, депутат Верховного Совета...

— Надо бы съездить туда, — внятно проговорил Викентий Изотович, — проведать их всех: Дарью Семеновну, Володю... Ведь ему, Фимушка, теперь бы около пятидесяти лет было. Он бы после меня остался, а так...

— Кушайте, Викентий Изотович, — встревоженно взглядываясь в него, попросила Евфимия. — А может, вашего врача вызвать?

— Нет, не надо...

— Хотя он сегодня по графику и сам должен подойти.

— А что, Елена больше не звонила? — глухо спросил Куликов.

— Может, и звонила, да только я телефон отключила, — созналась Евфимия.

— Включи, пожалуйста, — попросил Викентий Изотович, странно неподвижный, с устремленным в одну точку взглядом. — Мы как-то нехорошо с нею поговорили и даже не попрощались... Включи, дорогая Фима, прошу тебя.

— Конечно-конечно, сейчас же и включу, — с беспокойством глядя на него, пообещала Евфимия.

— Я никому никогда не говорил, даже Капе, а тебе сейчас скажу: всю жизнь, Фимушка, с самой войны еще, я душу Вовкину рядом с собой чувствую... И он, Фима, словно бы старше меня уже, и все мои поступки по праву старшего судит... И я боюсь, Фимушка, что вот уйду сейчас, а как же она, душа Вовкина, с кем останется? Да и свою душу, Фима, завещать некому... Помру и — конец! Вместе с душой уйду, потому как не к кому ей будет прислониться, никто в ней не нуждается, а это, Фима, конец! Конец роду Куликовых... Вон, Дарья Семеновна, душой своей наверняка возле сына, Ивана Федоровича, греется, жить в мудрости ему помогает, а мне-то каково...

— Гос-споди, Викентий Изотович, — перепугалась Евфимия, — да вы никак бредите? Вот же беда! Выпейте таблетку, — она просунула руку под его голову и почти силой заставила принять таблетку. — Потерпите, родненький, потерпите немного, я сейчас врача вызову.

— Не надо, — слабым голосом вновь отказался Куликов, но Евфимия уже бежала в прихожую...

И опять сознание Куликова переключилось на события минувшей войны. Вот они со старшиной в том продутом теплым солнечным ветром лесочке, с надеждой и сомнением прислушиваются к надвигающемуся бою. И как распорядится ими судьба — они еще не знают. Вполне могут через их лесочек фашисты отойти, и тогда неравный бой, короткий и обреченный...

Могут и наши неожиданным маневром выгодную позицию занять. Лежат они в молодом березнячке, за густым кустом шиповника, вдыхая его терпко-медовый запах. Сыромятин, подобрав опасные лепестки давно отцветшего шиповника, сосредоточенно пережевывает их.

«Не отравитесь?» — спрашивает Викентий Изотович. «Что вы, как можно! — оживляется старшина. — У нас из цветов шиповника, знаете, какое варенье готовят! Хорошо желудок закрепляет, болезни печени сдерживает. А ягоды, товарищ подполковник, плоды которые, человеку силы придают. Жаль, что не приспела еще их пора». Сыромятин вздыхает и вновь жует лепестки. А вот сам Куликов, кроме сильного жжения в груди, ничего более не ощущает. От чего он не отказался бы, так это от большого стакана холодного морса...

Уже под самый вечер подобрали их танкисты и переправили в деревеньку, где спешно был оборудован прифронтовой госпиталь. Сыромятина, перевязав, определили к легкораненым, а Куликова сразу же положили на операционный стол. На следующий день старшина пришел прощаться. «Так что, товарищ подполковник, не поминайте лихом — поехал я... Сопровождающим к тяжелым определили. А вам вот пока двигаться нельзя. Врач так сказал... Так что...» — «Запишите адрес мой московский, — неожиданно для себя сказал Куликов. — Всегда рад буду вас видеть». «Ну, что вы, товарищ подполковник, — вдруг покраснел Сыромятин. — Разве я вам ровня?» Адрес старшина все-таки записал, но так никогда им и не воспользовался...

Сам Куликов, уже за Вислой, разыскал Сыромятина в прежней бригаде, где он так и числился старшиной батареи. И это была их последняя встреча. Позже

Куликову довелось узнать, что буквально через сутки после встречи Сыромятин с группой разведчиков перебрался на правый берег Вислы, там по вспышкам орудий они засекли место расположения вражеских артиллерийских, минометных и пулеметных расчетов, нанесли их на схему и передали в штаб. А утром, когда началось форсирование Вислы, старшина Сыромятин приступил к осуществлению наиболее важной части задания, которое ему лично поставил командир батареи. Укрывшись в полуразрушенном сарае, стоявшем в двухстах метрах от переднего края гитлеровцев, он больше часа корректировал огонь своих батарей. Через час корректировщиков накрыло прямым попаданием тяжелого снаряда...

— Викентий Изотович, вы слышите меня?

Куликов не услышал, как вошли Евфимия и лечащий врач. Медленно открыв глаза, он вопросительно уставился в молодое, здоровое лицо врача, на котором теперь, в угоду больному, отразилось вопросительно-кислое выражение.

— Та-ак, — удобно усаживаясь на стул, протянул врач, которого звали Виктор Борисович, — и как мы себя чувствуем?

— Нормально, — хрипло ответил Викентий Изотович.

— А это мы сейчас проверим... Дайте вашу правую руку.

Куликов покорно наблюдал, как пеленают тугой повязкой его нехорошо исхудавшую руку, как мнет Виктор Борисович сильными загорелыми пальцами небольшую оранжевую грушу, как смотрит на нервно вздрагивающую под стеклом стрелку тонометра. И на какую-то секунду, на одно мгновение представил он себя на месте этого пышущего здоровьем майора медицинской службы. И уже глазами Виктора Борисовича с ужасом разглядел свое долгое, высохшее тело, распростертое под слегка взбугрившимся одеялом, неопрятно-морщинистую, желтоватую кожу и лихорадочный блеск глубоко запавших глаз. И ничего, кроме безразличного сочувствия и недоумения по поводу напрасно цепляющегося за жизнь Викентия Изотовича, в самом себе не услышал.

«Видимо, и в самом деле пора, — подумал Куликов, отворачиваясь к окну, все еще серому, со свежими дождевыми потеками. — Все давно уже устали от меня, а больше всех — я сам...»

— У вас повышенное давление, — поджал толстые, сочные губы Виктор Борисович, удивленно разглядывая Куликова. — По крайней мере, такого давления я у вас не помню за все время наблюдений... Вы таблетки регулярно пьете?

— А как же, — подала голос Евфимия. — Каждое утро, как вы и прописали.

— У вас, знаете ли, критически высокая нижняя отметка... И я бы рекомендовал вам, Викентий Изотович, незамедлительно перебраться в госпиталь. Если вы останетесь дома, я не могу ручаться...

— И не надо, Виктор Борисович, — перебил его Куликов. — Теперь за мое здоровье вообще рискованно ручаться... Да и что мы, в самом деле, в прятки с вами играем? Смешно... Все изношено во мне, все нормативные ресурсы мой организм выработал, что уж там... А помереть я, дорогой Виктор Борисович, предпочитаю все-таки дома. Понимаете? Хочу, чтобы эта вот женщина, — Куликов двинул подбородком в сторону Евфимии, — глаза мне закрыла. Как вы полагаете, заслужил я право на последнюю волю?

— Конечно, товарищ генерал. Еще бы!

— Хотите, я вам письменную расписку дам?

— Спасибо, — Виктор Борисович нахмурился. — Я вам выпишу новое лекарство. Принимать его — обязательно... Если почувствуете себя хуже — немедленно звоните мне. Об этом же я прошу вас, уважаемая Евфимия Яковлевна. Не стесняйтесь, звоните мне домой.

— Хорошо, Виктор Борисович, обязательно буду звонить, — с готовностью пообещала Евфимия.

— А так, полный покой... Никаких нервных перегрузок, никаких переживаний и эмоций. Если всего этого избегать, — вздохнул лечащий врач, — уже через сутки почувствуете значительное облегчение.

На прощание пошептавшись с Евфимией в прихожей, лечащий врач ушел.

«А что же Евфимия? — вдруг подумал Куликов, пораженный тем, что никогда не задумывался о дальнейшей судьбе этой женщины. — Уживется ли она с Луизой? А если нет, что тогда? Куда ей деваться?»

— Послушай, Фима! — окликнул он ее. — У тебя планы-то какие?

— Что? — удивленно взглянула она на него, осторожно переступая порог комнаты.

— Я говорю, ты после моей смерти что намерена делать?

Кажется, впервые Евфимия не понимала его. Она так привыкла за последние тридцать пять лет постоянно заботиться о ком-то из семейства Куликовых, что напрочь забыла о себе. Она уже и мысли не допускала, что кто-то может заинтересоваться ее жизнью, судьбой, будущим, поэтому и не могла сразу сообразить — о чем это таким заговорил вдруг Викентий Изотович. А когда дошел до нее смысл вопроса, обыденно и просто объяснила:

— Так ведь, Викентий Изотович, надо Костика поднимать... Луиза Юрьевна все больше на работе, кто же за ним присмотрит, как не я?

— А с Луизой-то уживешься?

— Уживусь. — Евфимия глубоко вздохнула, скорбно и спокойно разглядывая узкими глазами Куликова. — Не беспокойтесь... Да и рано вы об этом заговорили, Викентий Изотович. Я вот думаю так, что мы с вами еще и на дачу летом съездим. А то, глядишь, и Бескамышку проведем...

— Ну-ну, — невольно усмехнулся Куликов, — куда замахнулась... Я о чем тебя хотел попросить, Фимушка, — построжал голосом Викентий Изотович. — Ты исполнишь?

— А как же, — не задумываясь, твердо ответила Евфимия.

— Там вон, в шкапулке, — Куликов кивнул на письменный стол, — сто пятьдесят рублей денег... Это тебе на дорогу в Бескамышку.

— Да зачем это? — удивилась Евфимия.

— Подожди, — остановил ее Куликов, — выслушай до конца... Надо съездить туда, Фимушка, оградку новую поставить на могиле Володиной. Старая-то, я думаю, давно истлела... Я все собирался туда вырваться, да вот — не вырвался... Деньги на оградку тебе и сгодятся. — Викентий Изотович замолчал, но Евфимия видела, что он еще не все сказал. — Горстку земли с его могилки, голубушка Фима, на мою привезешь... Не посчитай за труд...

— Сделаю, — коротко ответила Евфимия.

— Вот и хорошо, — облегченно перевел дыхание Викентий Изотович.

— А только и вы сделайте то, о чем я вас попрошу, — вдруг сказала Евфимия, стоя высоко над Куликовым.

— Ну? — удивился Викентий Изотович. — Говори...

— Сделаете?

— Если это в моих силах, Фима.

— В ваших, Викентий Изотович... Попейте вы это лекарство и дня два никого до себя не допускайте. Обещаете?

— Обещаю, — благодарно улыбнулся Куликов и вдруг почувствовал аппетит. — Ты, Фимушка, что-то про суп гороховый говорила?

— Сейчас принесу, — узкие глаза Евфимии залучились радостью.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Во второй половине дня, когда Ефим Петрович забылся на несколько минут, отпущенный в это забытье утихшей болью, ему поблазнились вдруг глаза женщины в сером пуховом платке. Все долгие годы, минувшие с того рокового дня, припоминался ему лишь ее общий облик: небольшая фигурка, кутающаяся в серый платок. Да и возможно ли было в тот предрассветный час, в считанные минуты, разглядеть ее более подробно, тем более — запомнить цвет глаз или волос. А тут вдруг он удивительно ясно, с полной определенностью разглядел, что глаза у нее золотистые, цвета луковой кожуры — необычные глаза. Удивительно это было для него, но еще более удивительным показалось Ефиму Петровичу то, что он вновь увидел себя под окнами этой женщины, осторожно царапающим стекло. Как-то так получилось, что он, Сыромятин, вроде бы лежал в своей постели, в своем доме, и одновременно был там, в той безвестной деревеньке, за несколько минут до встречи с полицией Шухевича...

Сдвигается в сторону занавеска, и за стеклом показывается встревоженное женское лицо. И нынешний Ефим Петрович едва не охает вслух, когда видит эти золотистые глаза, предупреждающие, умоляющие его бежать, немедленно исчезнуть... Теперь Сыромятин только диву дается: как же он тогда умудрился не разглядеть всего этого в глазах женщины. Сумей он более внимательно заглянуть в ее глаза, и все бы пошло иначе. Главное — она бы осталась жить. А вот теперь, в этом малопонятном забытьи, ее лицо за стеклом словно бы под слоем воды в узкой проруби, и огромные, печально-золотистые глаза с непонятной властью притягивают внимание Сыромятина. И он, вконец обессиленный властью этих глаз, тревожной глубиной иссиня-черной толщи воды, в которой угадывалась пугающая беспредельность, склоняется над прорубью-окном, готовый погрузиться навстречу этому взгляду...

Тело Ефима Петровича словно бы растекается по постели, из него как бы вынули все косточки, и он, теперь уже не чувствуя никакой боли, готов был протиснуться в эту узкую прорубь и догнать неуловимо отдаляющуюся и зовущую за собой женщину...

Казалось, только одно усилие отделяло его от погружения в прорубь, но в этот момент в тревожное забытье Сыромятина пробился встревоженный голос Степаниды Ильиничны. И сразу же уплотнилась и потяжелела его брэнная плоть, вновь обретшая кости, вернулась боль под правой лопаткой, сковывающая дыхание, и Ефим Петрович открыл затуманенные глаза.

— Отец, ты чего это? — испуганно смотрела на него из кресла жена, вырвавшаяся из рук вязанье.

— А? Что такое? — беспамятно уставился на нее Сыромятин, ощущая мелкие бисеринки пота на лбу и ладонях.

— Фу, перепугал насмерть, — Степанида Ильинична перевела дыхание. — Затих и не слышно тебя... Я кликнула, а ты не отвечаешь...

— Сон мне приснился, — устало ответил Ефим Петрович, — про войну...

— И что же такое тебе снилось? — насторожилась Степанида Ильинична.

— В разведку ходил, — усмехнулся Сыромятин. — Постучал в окно деревенского дома, а там полицаи.

— Это когда вы с подполковником в окружение попали?

— Вот-вот...

— И что же было дальше?

— Ничего... В дом-то я не успел зайти — ты окликнула.

Ефим Петрович сам не знал, почему он так никогда и не рассказал супруге о женщине в сером пуховом платке...

— Фершалка как убежала, так и с концами, — перевела разговор Степанида Ильинична. — Молодым-то все некогда, все они куда-то спешат...

— Да ведь я у нее, поди, не один.

— Как же — все село вповалку лежит и ее дожидается, — с усмешкой сказала супруга.

— Все не все, а холода подступили, ребятишки простывать начали...

— А она что же, бегаёт и рты им прикрывает? Нет, на минутку заглянуть могла бы, не барыня еще, а девка молодая, на ногу скорая.

В это время хлопнула калитка, и они оба насторожились. Но тут же радостно завизжал Шарик, и они поняли, что это кто-то из своих пришел.

— Никак Нина перед вечерней дойкой к нам завернула, — неуверенно сказала Степанида Ильинична. — А может, Ванятка набежал...

— Зайдут — узнаем, — отозвался Сыромятин.

Но уже по шагам в прихожей они распознали Нину Ефимовну. Невольно прислушались к тому, как не спеша скинула она полушубок в прихожей, сполоснула руки под умывальником, заглянула в кастрюлю на плите, неопределенно хмыкнув при этом.

— Мам, вы обедали? — спросила через дверь дочка.

— Конечно... Бери, кушай сама.

— А и правда: я ведь с собрания и сразу к вам. Даже домой не успела забежать.

Вскоре она вошла в горницу, держа в одной руке горбушку хлеба, в другой — эмалированную миску с тушеной картошкой. Присев за круглый праздничный стол, на котором стояла старенькая швейная машинка, облегченно улыбнулась:

— Тепло-то у вас как, уютно... Там, на улице, ветрище сегодня, да еще и с морозом — совсем спасу нет. Из конторы все тепло выдуло, пришлось в полушубках заседать.

— Ты кушай, кушай, пока горячее, — напомнила дочери Степанида Ильинична.

Нина Ефимовна послушно взялась за ложку.

— Все заседаете? — спросил Ефим Петрович, внимательно разглядывая дочку и впервые с сожалением отмечая приметы недалекой уже женской старости.

— А куда деваться? — пожалала плечами Нина Ефимовна. — Льготные путевки распределяли... Кому — в Сочи, кому — в Сухуми. Вот и тебе бы, папа, на воды съездить, полечиться...

— Я же не колхозник, мне ваши путевки не положены, — ответил Сыромятин.

— Зато мне положены, — нахмурилась дочка.

— Это будет нарушением...

— А ты бы поехал? — сощурилась на отца Нина Ефимовна.

— Да куда он поедет! — вмешалась в разговор Степанида Ильинична. — Он и раньше-то никуда не ездил, а теперь и подавно. Думаешь, у них в леспромхозе путевок не было? Сколько хочешь. А у него все неотложные дела: то сенокос, то заготовка дров, то план горит, то подмениться некем... Сколько раз говорила ему: собирайся, отец, поезжай. Куда там! Пусть, мол, молодые лечатся, им еще жить надо, а я уже свое отжил... С войны, мол, вернулся домой — и на том спасибо. Вот и дошутился. А теперь вот лежит, кровь свою в платочек прячет...

— Кровь? — удивилась Нина Ефимовна.

— Ну да... Он ведь у нас, Нина, еще и конспиратор: с войны с осколком под сердцем вернулся и за столько-то лет мне ни гу-гу...

— Папа! — Нина Ефимовна перевела недоумевающий взгляд с матери на отца. — Правда, что ли?

А в этот момент тупая, жестокая боль под левой лопаткой вдруг перешла на позвоночник, и Ефим Петрович, кругля глаза, тяжело застонал, хватая открытым ртом

воздух. Наверное, смотреть на это было жутковато, потому что дочка вдруг вырвалась из руки ложку и беспомощно оглянулась на мать. Степанида Ильинична было торкнулась из кресла, но ноги ее не удержали, и она вновь грузно опустилась в него.

— Грудь, грудь ему разотри, — прошептала она. — Да поживее!

Но Нина Ефимовна уже справилась с минутной растерянностью, быстро пересела к отцу на постель и, откинув одеяло, ровными, сильными пассами стала массировать грудь отца под натальной рубашкой. Она слышала, как постепенно обмякают и расслабляются мышцы, как весь он медленно проваливается в постель, все тише и ровнее делая вдохи.

— Ну вот, ну вот, — машинально говорила Нина Ефимовна, разглядывая заострившееся от боли, знакомое и родное до самой последней морщинки лицо отца. — Сейчас пройдет, сейчас полегчает... Ну вот, ну вот...

— Гос-споди, что бы я делала тут одна с ним? — спустя несколько минут горестно произнесла Степанида Ильинична. — Ни помочь, ни лекарство подать не могу. Пока это я встану, до его постели доковыляю... Ты вот что, Нина, побежишь на дойку — отбей телеграмму Петру. Пусть что хочет, то и делает, а домой завтра же выезжает. А то взял моду — третий год глаз к родителям не кажет. То у него охота, то рыбалка, то Мусю на курорт надо свозить, а отец-мать, значит, побоку...

— Ну, что ты, мама, говоришь? — не очень уверенно возразила Нина Ефимовна.

— Знаю, вот и говорю... Запрошлый год совсем было к нам собрались, а в последний момент раз — и в Ялте очутились. Как это так? А ведь отдохнуть и у нас можно. Не мне ему рассказывать, какая у нас рыбалка, а он прошлым летом на Байкал укатил, омуля какого-то там ловить... Так что говори не говори, а такая вот картина получается. Вот и пусть разок все бросит и для своих родителей расстарается. Так и отпиши ему...

— Да уж отпишу...

— На весь свет ославить хочешь? — тихо спросил Ефим Петрович.

— А может, папа, тебе в больницу лечь? — осторожно спросила Нина Ефимовна, все еще находящаяся под впечатлением только что пережитого.

— Не хочет он в больницу, — ответила мать.

— Ну, мало ли — хочет не хочет, — построжала голосом дочка. — А если надо?

— Вон, спрашивай его, — кивнула на мужа Степанида Ильинична.

— Слышь, папа, в больницу бы тебе надо...

— Вроде бы надо, — неожиданно согласился Ефим Петрович. — Да боюсь я, не довезут... Он и так уже с места стронулся, а как по нашим дорогам протрясут, так и вообще...

— А ты что же, чувствуешь его?

— Да как тебе сказать...

— Осторожно надо, потихоньку... Спешить некуда.

— Может, и правда, отец? — спросила Степанида Ильинична.

— Я вот что думаю, Нина, — после небольшого раздумья сказал Сыромятин, — если со мной что случится...

— Ну, вот еще!

— Подожди, не перебивай, — и появилась в голосе Сыромятина та нотка, которая вдруг заставила умолкнуть и насторожиться Нину Ефимовну. — Если что случится со мной, повторяю, то воля моя такова: мать забирай к себе... Ванятка, если женится, квартиру в леспромхозе завсегда получит. А этот дом, родительский, Людмилке отдайте... Пускай она, ядрена-Матрена, из города вергается. Нечего ей там делать... Пускай, значит, вергается, и хозяйство наше ведет. У нее детки малые, вот возле коровки и домашних овощей пусть и поднимутся... С сеном, дровами Ванятка завсегда поможет. Да у нас по деревне и мужиков холостых хватает...



Если с прежним не сойдется, пусть нового поищет — это ее дело. Но на родную землю пусть возвращается — это моя ей воля, так и передайте... Пусть правнуки мои в родном доме живут, на своей земле. А иначе, без дома родного и земли, кем же они вырастут? Когда повзрослеют да в полную силу войдут — их дело, а растут пусть здесь, на глазах...

Скажу тебе, Нина, никогда раньше не говорил, а теперь скажу: всю жизнь свою я с оглядкой на нашу березовую рощу прожил... Там, поди, от родителей одни косточки остались, а я до сих пор туда посматриваю да совета спрашиваю... И ежели чего не так сделаю — стыдно мне перед ними, а за хорошие дела, опять же, перед ними горжусь. И пока я жив — живут и они со мной. В этом, дочка, и есть вся наша сила, и бросаться ею не надо. Мы тут, с матерью, хотели помочь Людмилке — кооперативную квартиру построить, а я как раздумался — не нужна она ей. Пусть домой едет...

От долгого разговора Ефим Петрович ослаб и устало прикрыл глаза.

— Мне-то что, я бы только рада была, — задумчиво ответила Нина Ефимовна. — Да захочет ли сама Людмила? Вот если бы ты сам с нею поговорил, может, тебя она и послушает.

— У нее сердце, Нина, пока еще городом не иссушено. Я ведь вижу, что она по нашей земле скучает, по корням родительским, — тихо ответил Сыромятин. — А так, что же, зови ее на выходные — скажу.

Светило за окном тусклое зимнее солнце, заметно подвинувшееся на закат. Взмывнула в пригоне Зорька, застоявшись за день. Под карнизом шумно возились воробьи, готовясь ночевать долгую и холодную ночь. Из репродуктора на кухне доносились песни и музыка, которую передавали по заявкам ветеранов Великой Отечественной войны.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Имя генерала Куликова изредка упоминалось в печати, говорили о нем по радио, брали интервью на Девятое мая и на День Советской армии. Ефим Петрович Сыромятин почему-то представлял его, как и прежде, высоким, подтянутым и нестареющим. Но однажды случилось увидеть генерала по телевизору, и Ефим Петрович поразился — Куликов был невзрачен и стар... Совершенно седая голова, высохшая фигура, на которой генеральский мундир сидел как с чужого плеча. Но главное — выглядел Куликов очень устало. Эта усталость была не только в его глазах с внимательным прищуром, казалось, она сковывала каждое движение генерала, пришедшего поздравить кремлевских курсантов с выпуском. Ефим Петрович попытался прикинуть его возраст, и у него получилось много, что-то около восьмидесяти лет...

Однажды, попав в группу передовиков социалистического соревнования, по условиям краевого конкурса поехавших с рапортом в Москву и Звездный городок, Ефим Петрович совсем было вознамерился проведать Куликова. На тихой московской улочке он отыскал большой дом из серого камня, миновал аккуратный дворик с тенистой аллеей и сунулся было в подъезд с двойными застекленными дверями. А тут ему навстречу капитан в общевойсковой форме из-за стола поднимается. Оглядел он Ефима Петровича с ног до головы, улыбнулся и говорит, мол, дорогой товарищ, ошибочка у вас случилась, перепутали вы адресочек. И вежливо так, все с той же улыбочкой, отгеснил Сыромятина к выходу. Оробел Ефим Петрович, отступился и на том, что по верному адресу пришел, настаивать не стал. Кто его знает, что у них здесь за порядки: еще начнут личность выяснять, а он никого в группе не предупредил, что к генералу пошел...

И в самолете уже, на обратном пути, задумался Сыромятин о правилах и порядках в том сером доме. «А что, ядрена-Матрена, правильно, поди. Еще какой дурак вскочит да скандал учинит. А там одни генералы живут... Народишко-то у нас пьяный да дурной, чего хочешь учудить могут. Вот их и охраняют, генералов-то, от всяких беспорядков. Только чудно, конечно, под охраной-то жить, как в тюрьме получается...»

Степанида Ильинична его мыслей на этот счет не разделила и посоветовала вначале письмо отписать. Ефим Петрович собирался, собирался, да так и не собрался... Да и о чем бы он ему, генералу, письмо сочинять стал? Мол, жив-здоров, в леспромхозе бригадиром работаю. Вот новость для генерала! А там, может, письма такие дурацкие и не пропускают вовсе. А то еще и проверять начнут, до Ваньки, каналы, докопаются, что он каждый год за границу ездить наладился. Вот тебе и повод для размышлений: ниточка-то к генералу из-за рубежа через Ванятку тянется. Конечно, ничего худого за Ванькой не числится, но пока все это прояснится... Нет, не стал Сыромятин рисковать. Может, и предрассудки все это, да ведь известно — береженого бог бережет.

А свидеться с Куликовым хотелось: вспомнить ту березовую рощицу, в которой они почти сутки хоронились и где возникла между ними какая-то особенная связь, которую Сыромятин словами определить не мог. За те сутки они словно бы целую жизнь вместе прожили и узнали друг о друге буквально все...

Ефим Петрович услышал, как возле их дома остановилась машина. Взлаял Шарик на цепи, хлопнула калитка, и сердце у Сыромятина сжалось: неужто и в самом деле приехали за ним из больницы? А сомнений в этом уже и быть не могло: на кухне послышался взволнованно-озабоченный голос фельдшерицы и чей-то басок, сдержанно поприветствовавший Степаниду Ильиничну. Ефим Петрович уперся тоскливым взглядом в беленый потолок и надсадно вздохнул, прижимая платочек к губам.

— Проходите сюда, — звенел голос фельдшерицы Людмилы Ивановны. — В горницу, пожалуйста...

Дверь распахнулась, и вместе с фельдшерицей вошел крупный молодой человек в роговых очках и в белом халате, из-под которого выглядывали коричневые вельветовые штаны и черные туфли. Молодой человек держал в руке небольшой чемоданчик с ярко-красным крестом на боку.

— Здравствуйте, — сказал он уже знакомым баском и поставил чемоданчик на пол, рядом с постелью, а сам придвинул табуретку и сел, широко расставив ноги. — На что жалуемся, Ефим Петрович?

Вопрос Сыромятину показался глуповатым, поскольку он был уверен, что Людмила Ивановна уже все, в самых мельчайших подробностях, доложила ему. И он, ни слова не говоря, оторвал платочек от губ и протянул его молодому врачу.

— Та-ак, — врач не смутился, взял платочек и положил его на край постели. Затем, все так же невозмутимо, открыл свой чемоданчик.

— Вадим Дементьевич, про кровь он ничего мне не говорил, — прошептала побледневшая Люся. — Он только про осколок сказал...

— Та-ак, — повторил Вадим Дементьевич, но уже более энергично и жестко. — Позвольте-ка...

Довольно ловко и быстро он смерил кровавое давление, а затем долго и тщательно выслушивал грудь Сыромятина, изредка задавая ему короткие, отрывистые вопросы.

— Сердце у вас работает хорошо, — наконец сказал Вадим Дементьевич. — На сердце мы можем пока рассчитывать... И это при том, что вы курите. Кашель у

вас есть? Особенно по утрам, да? Ну, это называется на нашем языке — синдром курильщика... Та-ак. Кровь у вас давно появилась?

И он все смотрел, все ощупывал Ефима Петровича маленькими, внимательными глазами за толстыми стеклами очков.

— А раньше, скажите, вы кровь замечали? Нет, не замечали... Хорошо. И дома утром, во время кашля, ее не было? Хорошо... Что же, Ефим Петрович, придется вам все-таки поехать с нами...

— Это обязательно? — на всякий случай переспросил Сыромятин.

— Понимаете, Ефим Петрович, необходим более тщательный амбулаторный осмотр. Рентген — в первую очередь... Здесь все это сделать, как вы знаете и без меня, невозможно. Отсюда напрашивается элементарный вывод: ехать надо обязательно. И если это и в самом деле осколок — чем скорее, тем лучше.

— Понятно, — Ефим Петрович пошевелился, давая понять Вадиму Дементьевичу, что он готов собираться в дорогу.

— Лежите, — понял его намерение врач. — Вам лишние движения сейчас противопоказаны... Вас отнесут на носилках.

— А кто понесет-то? Людмила Ивановна? — смутился Сыромятин, совершенно забыв про фронтовых сестричек, которые и не таких гигантов, как он сейчас, из-под огня выносили.

— Зачем? — спокойно ответил Вадим Дементьевич. — Я с шофером отнесу...

А шофером на скорой был маленький, чернявый, очень нервный человек. Пока врач осматривал и прослушивал Сыромятина, он несколько раз нетерпеливо заглядывал в горницу, но от реплик воздерживался. А вот когда Степанида Ильинична начала собирать мужа в дорогу, едва поворачиваясь на больных ногах, шофер не удержался:

— Да что вы его на курорт отправляете, что ли? Там все есть, а если чего-то надо будет — потом привезете.

Степанида Ильинична промолчала, складывая в черную хозяйственную сумку запасное теплое белье, рубашку, электрическую бритву «Харьков» и флакон тройного одеколона. Едва она раздумалась, что же еще на первое время положить, как чернявый шофер вновь вылупил:

— А поживее, бабка, нельзя?

Тут Степанида Ильинична не выдержала и ответила:

— Подь ты, окаянный, в свою машину. Когда нужен будешь — позовут...

Прибежал Ванятка. Ему в конторе леспромхоза сообщили, что к деду из райцентра приехала машина скорой помощи. Не разуваясь, дубленку не снимая, он прошел в комнату, где терпеливо сидели и дожидались Людмила Ивановна и Вадим Дементьевич.

— Ты что, деда, белый флаг выбросил? — заглядывая в горницу, укоризненно спросил Ванятка. — А кто сегодня на репетиции инвалида будет играть?

Вадим Дементьевич удивленно почесал переносицу и вопросительно взглянул на Людмилу Ивановну. Фельдшерница неопределенно поджала губы и отвернулась.

— Мне, Ванька, скоро семьдесят два года сполнится, — без раздражения напомнил внуку Ефим Петрович. — Вот доживешь до моих лет, тогда посмотрим, на какие репетиции ты будешь ходить...

— Ты бы, дед, годы свои поменьше считал, оно тогда лучше выходит, — проворчала из кухни Степанида Ильинична. — Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует... Нынче иной тридцатилетний — постарше тебя выглядит.

Между делом Ефим Петрович потихоньку собирался. Приготовила Степанида Ильинична для мужа новое исподнее, носки шерстяные дала, костюм в полоску из гардероба достала. Оделся Ефим Петрович, суточную щетину электробритвой

смахнул и помолодел. Сам почувствовал, как подобрались все мускулы, слегка развернулись плечи и боль, словно соответствуя моменту, отступилась куда-то, схоронилась до поры. Ванятка усиленно крутился возле деда, но больше мешал, то и дело спотыкаясь о выдвинутый из-под кровати чемодан с вещами.

— Ты бы сел, внучек, отдохнул в кресле, — не выдержала Степанида Ильинична.

Наконец все было готово. Ефим Петрович, уже одетый и обутый, но еще без полушубка и шапки, сидел на краю постели, неестественно далеко откинувшись назад — так было легче дышать. За его спиной горбатились на косматых лошадях три славных богатыря, некогда завезенных в далекое приамурское село молдавскими умельцами. Рыжие усы на свежевыбритом лице придавали Сыромятину неожиданно молодецкий, бравый вид, и если бы не откинутаая назад спина с приподнятыми плечами, можно было бы и забыть о его недуге.

От носилок Ефим Петрович наотрез отказался, сославшись на крепкие руки-ноги внука. После этого Людмила Ивановна с врачом вышли из комнаты.

— Ступай и ты, Ванятка, — попросила Степанида Ильинична. — Когда надо будет — я тебя кликну.

Сидели вдвоем: Ефим Петрович на самом краешке кровати, Степанида Ильинична рядом на табуретке. Сыромятин, в синей клетчатой рубашке, застегнутой на все пуговицы, с орденскими планками на пиджаке, строго-опечаленный и внутренне сосредоточенный, был в эти минуты необычайно пригож. Степанида Ильинична, горестно уронившая в подол старенького сатинового платья натруженные руки, удивленно разглядывала мужа. Каждая морщинка и складка на его лице были до мельчайших подробностей знакомы и близки ей, а теперь, в эти вот минуты, вдруг подумалось нехотать, что сидит перед нею почти незнакомый мужик. Еще из дома не вышел, а вроде как уже и не дома, по крайней мере — не с нею он сейчас... И вдруг обмерло сердце Степаниды Ильиничны страшной догадкой, захолонуло у нее все внутри...

— Ефим, — позвала она срывающимся голосом.

— А? — вздрогнул Сыромятин, обращая к жене светло-серые глаза.

— Ты надолго собрался от меня?

Он все понял, но пересилил себя, жалость к самому себе, наготове притаившуюся где-то совсем рядом, и с виноватой улыбкой ответил:

— А это, Степа, как врачи мне прикажут...

— Ты там помни, — Степанида Ильинична не удержала слезу, — помни там, Фима, что я тут без тебя... одна-а, — она громко всхлипнула, — погибну-у...

И уже в машине, на специально приспособленной лежанке, упираясь глазами в низкую жестяную крышу скорой помощи, Ефим Петрович все еще слышал надорванный голос жены.

Машина лихо пронеслась по деревенской улице, включенной сиреной распугивая собак, повернула в проулок и мимо школы выскочила на гравийный тракт. Людмила Ивановна, сидевшая на откинутой боковой скамейке, подбадривала Сыромятина улыбкой, крепко вцепившись побелевшими пальцами в металлическую переборку. Вадим Дементьевич сидел по другую сторону Сыромятина, постеснявшись перед молоденькой фельдшерницей сесть в кабину рядом с шофером.

Когда тряхнуло и подбросило машину в первый раз, он, придерживая Ефима Петровича за плечо, виновато и смущенно улыбнулся, как бы извиняясь перед ним за неловкость водителя — низкорослого, чернявого паренька, спешившего, как выяснилось потом, к жене в промтоварный магазин. Дело в том, что они с женой в этот день решили купить цветной телевизор, и паренек-водитель боялся, что магазин закроют...

Когда трянуло во второй и третий раз, да так, что Людмила Ивановна не удержалась и полетела прямо на Сыромятина, Вадим Дементьевич громко постучал в металлическую стенку, отделявшую кабину водителя от салона. И потом он колотил беспрерывно, но узик, оборудованный под скорую медицинскую помощь, продолжал нестись по проселочной лесовозной дороге, падал в ямы, подсакивал на ухабах, виляя и стуча колесами по мерзлой земле. На повышенных оборотах ревел перегретый двигатель, заглушая всхлипывающих, полный ненависти и ужаса голос фельдшерницы, некрасиво гримасничавшей при каждом новом ударе...

А Ефим Петрович был спокоен. Он задохнулся от нестерпимой боли уже на третьем толчке. И вновь, как уже было с ним не раз, перед глазами промелькнуло лицо женщины в сером платке. Только теперь оно было ласковым и зовущим, с легкой печалью в золотистых глазах. И он, еще такой молодой, с пустячной раной предплечья, без треугольного осколка в груди, шагнул в глубокую прорубь с иссиня-черной холодной водой, навстречу этому лицу. И впервые Ефим Петрович забыл о том, что в березовой рощице его дожидается тяжело раненный подполковник Куликов...

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Деда, а деда, — тряс за плечо Костенька. — Ты записку написал?

— Какую записку? — ничего не понял со сна Куликов, удивленно приглядываясь к стоящему возле его постели внуку.

— Ты же обещал, — нахмурился Костенька, — а теперь притворяешься, что не помнишь...

— А-а, записку, — окончательно пришел в себя Викентий Изотович и вдруг широко улыбнулся. — Нет, Костик, не успел я с запиской. То врач ко мне приходил, то бабушка твоя звонила...

— А сейчас напишешь? — Костик внимательно и серьезно смотрел на деда черными блестящими глазами. Длинно отросшие волосы Костика красиво завивались на концах и аккуратно ложились на воротник форменной курточки. Острые плечи, еще такие слабые и беззащитные, нервно вздрагивали от возбуждения.

— Сейчас напишу, — твердо ответил Куликов. — Включай свет и тащи сюда бумагу с ручкой. Только и ты мне должен дать одно обещание...

— Какое? — Костик живо подбежал к стене и щелкнул выключателем. Потом схватил с письменного стола лист чистой бумаги и авторучку из подставки.

— Ты эту записку, Костик, должен хранить ровно десять лет после моей смерти.

— Зачем? — видно было, что внук и в самом деле озадачен.

— Так надо. — Куликов забрал лист бумаги и авторучку. — Дай мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу, чтобы подложить, а сам иди и переоденься пока.

Когда Костик вышел из комнаты, забыв прикрыть за собою дверь, Викентий Изотович дотянулся до стакана на прикроватной тумбочке и выпил таблетку. Хотел было сесть в постели и даже уже одеяло откинул, но передумал и лишь выше сдвинул подушку под головой. «Моему правнуку, Константину Ванееву, — крупным, размашистым почерком написал Куликов и поставил восклицательный знак. — Мой дарственный нож поступает в полное его распоряжение по достижении им совершеннолетия. — Викентий Изотович задумался, покусывая конец авторучки и приписал: — В чем и удостоверяю личной росписью».

Куликов усмехнулся, перечитал написанное, поставил дату и расписался...

В тот вечер они с Капой вышли в сквер погулять. Заканчивался шумный, серенький подмосковный день. Люди уже отработали положенное время на рабочих

местах и теперь спешили по домам, тяжело нагруженные сумками и пакетами. Переполненные троллейбусы, высекая на стыках снопы искр, пошатываясь и кренясь на поворотах словно пьяные, спешили по очерченному проводами кругу. Машины, рассерженно замирая у светофоров, уже на желтый дружно срывались с места, пересекали улицу Горького и неслись по всем направлениям дальше, выталкивая прохожих на тротуары. И буквально в каждой машине, будь то автобус, троллейбус, изрядная «Чайка» или юркий «Жигуленок», в каждом человеке угадывался такой мощный заряд торопливости, нетерпения, что, казалось, встань случайно у них на пути — растопчут, задавят, разнесут по асфальту в пух и прах. Эта сумасшедшая спешка, погоня бог знает за кем, внезапно захватила и Куликовых.

И когда они с Капой уже пронеслись вниз по Тверскому бульвару, остановившись лишь на красный светофор у Никитских Ворот, Викентий Изотович наконец спохватился. Запаренно дыша, вытирая носовым платком пот со лба, он удивленно уставился на свою Капитолину. Она же, почувствовав его взгляд, обернулась, вопросительно взглянула на него и в старости необычайно живыми, карими глазами.

«Послушай, Капа, мы куда летим?» — удивленно спросил он ее. — «Как это куда — никуда... Мы же гуляем...» — «И этот аллюр ты называешь гуляньем?» — он кивнул на проделанный ими путь. Капитолина Егоровна наконец сообразила, о чем речь, и некоторое время в недоумении смотрела вдоль Тверского бульвара, густо наперченного фигурками спешащих людей. «В самом деле, — тихо сказала она, — куда это мы с тобой разбежались?» Они развернулись и намеренно медленно отправились в обратный путь.

Но как они ни жались к обочине аллеи, как ни старались никому не мешать, их то и дело задевали локтями, сумками, раздраженно оглядывались на них. И уже вскоре Викентий Изотович с Капитолиной Егоровной неслись по бульвару наравне со всеми, уступая лишь студентам и влюбленным с букетами, спешащим к памятнику Пушкина на свидание.

И лишь свернув в свой небольшой тополинный сквер, изрядно загаженный четвероногими друзьями человека, Куликовы облегченно перевели дыхание. Они взглянули друг на друга и, увидев растерянные, изрядно запаренные лица, вдруг дружно и весело рассмеялись.

«Мне кажется, — сказал Викентий Изотович, — еще лет десять назад люди меньше спешили и гораздо больше успевали...»

«А вдруг, Вика, мы попросту уже не можем угнаться за ними?» — как-то особенно грустно и задумчиво спросила Капитолина Егоровна. Тогда эта мысль поразила и опечалила его.

Несмотря на свои семьдесят четыре года, он чувствовал себя еще прекрасно и уступать пока никому не собирался. А тут вдруг так просто и ясно было сказано о том, что он уже уступает... Повернув к дому, они медленно брели по аллее, изрядно устав и измучившись от влажной летней духоты, мечтая о компоте из холодильника и уютном покое давно обжитой квартиры. В это время из подъезда, сопровождаемый дежурным, вышел невысокий, ладно сбитый мужчина с рыжими усами, одетый явно по-деревенски: серый костюм в полоску, дешевые ботинки без каблучков, клетчатая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Дойдя до угла, мужчина задрал голову и растерянно посмотрел на номер дома, потом закурил, как-то по-особенному пряча огонек спички в ладонях, и скрылся за углом.

Викентий Изотович, равнодушно скользнувший взглядом по незнакомому человеку, однако жест этот особенный уловил и невольно задержал шаг. Без сомнения, он уже где-то видел эту манеру хоронить огонь в крутой воронке ладоней. Но где? У кого? И фигура мужика, ладная, крепко скроенная, с характерным наклоном головы кого-то напомнила Куликову...

«Что за человека вы сейчас проводили?» — спросил Викентий Изотович у дежурного. «А кто его знает, — вытянулся перед Куликовым дежурный. — Адрес, видимо, перепутал». «Надо было спросить», — с невольным упреком сказал Куликов, у которого мужик с рыжими усами не шел из головы. «Виноват, товарищ генерал!» — щелкнул каблуками дежурный.

Вечером Викентий Изотович еще несколько раз вспоминал человека, на его глаза ушедшего за угол их дома, но признать в нем знакомого так и не смог. А на другой день Капитолина Егоровна пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Вышла она из подъезда и вдруг присела на садовую скамью. Потом медленно прилегла на бок (дежурный видел через застекленную дверь) и уже более не встала: сердце у нее остановилось...

— Написал? — внук уже переоделся и вопросительно смотрел на деда.

— Да. Возьми, — Куликов протянул листок.

Шевеля губами, Костик внимательно прочитал написанное и довольно улыбнулся.

— А мне сейчас можно на него посмотреть?

— Посмотри... Он там, в большом ящике стола.

— Я знаю, — Костик выдвинул ящик и жадно схватил уже почти принадлежавший ему кинжал

— Как твои успехи в школе, Костик? — спросил Куликов, скашивая на правнука глаза.

— Нормально, — не сразу ответил Костик. — Меня сегодня на Люстру пере-садили.

— Что? — не понял Куликов.

— Так мою новую лошадь зовут... Она, деда, призы брала.

— Я спрашиваю, как твои успехи в школе?

— Нормально: две тройки и одна пятерка.

— Пятерка-то за что?

— По французскому...

— А тройки?

— А-а, сочинение заставили писать, и я слово «гражданин» с двумя «н» написал... Потом еще запятые там разные...

— А по-французски, значит, шпаришь на отлично?

— У нас же спецшкола, деда... А ты кого-нибудь этим ножом зарезал?

— Нет, Костик, никого я этим ножом не резал, даже кур...

— Ух! — Костик взмахнул ножом, поражая воображаемого противника. — Я бы ка-ак дал!

«Зачем, почему, — с недоумением смотрел на правнука Викентий Изотович, — ему уже хочется кого-то ударить? И ударить-то — кинжалом... Древний инстинкт? Мужское начало? Чего же тогда стоим мы, как воспитатели? Сейчас он играет с ножом, а завтра?»

— Деда, кинжал твой на месте, — прервал его мысли Костик. — Мне надо на секцию фехтования бежать.

— А уроки?

— Половину я еще в школе сделал... Историю вечером читаю.

— Ну, беги, — вздохнул Викентий Изотович.

Внука он ждал долго: вначале от Елены, а потом и от Луизы. В том, чего он ожидает от рождения внука, Куликов не отваживался признаться даже самому себе... А жила в нем смутная надежда, что под видом внука воротится к ним Во-

лодка и уже в этой, новой своей жизни будет более удачлив и счастлив. И когда появился у Луизы мальчик — счастью Куликова не было предела. Он никогда не говорил на эту тему с Капитолиной Егоровной, но она, кажется, понимала его.

Викентий Изотович сам купал и кормил правнука, возил его в коляске гулять, подолгу и всерьез разговаривал с ним, еще ничего не смыслящим младенцем с мутными глазенками и долго не заживающим родничком. Ему всерьез казалось, что внук усваивает то, о чем он ему говорит, впитывает в себя вместе с воздухом и светом.

А и хотелось-то Викентию Изотовичу от внука немного: чтобы вырос он честным и смелым, умел рассчитывать на свои силы и поменьше бы надеялся на всевозможные привилегии и льготы, волею судьбы данные ему от рождения. Ах, как мечталось ему пожить с внуком в родной деревне, пройтись с ним ранним утром на рыбалку, помочь дальним родственникам стоговать сено и готовить дрова на зиму. Земле, роду своему и дому хотелось генералу Куликову вернуть вместо себя правнука Константина. Чтобы всей душой прикипел он к колыбели рода Куликовых, землепашествовавших здесь испокон веков...

Года три тешил себя Викентий Изотович этими сладкими грезами, года три неотступно лепил своего потомка, чувствуя полное одобрение и поддержку от Капитолины Егоровны и Евфимии. А тут и подоспела беда — смерть жены. И пока Викентий Изотович справлялся с этим несчастьем, которое и не чаял превозмочь, пока жил в полуреальности воспоминаний и грусти, минуло полгода. И в эти-то шесть месяцев, срок до смешного незначительный, он, как оказалось, душонку Костика потерял. Вернее — связь с нею... Да и не Костя это теперь был, а Костенька, Котик, Косточка... Но Куликов еще пытался бороться, еще предпринимал героические усилия во имя спасения правнука для своей земли — колыбели его души.

Года два продолжалась эта борьба, а затем Викентий Изотович бесславно уступил. Он вдруг понял, отчетливо осознал, что упустил возможность выковать, вылепить душу правнука по своему подобию не сейчас, после смерти жены, а очень и очень давно — почти пятьдесят лет назад. Именно тогда, вместе с рождением дочери, должна была начаться эта борьба, а ему, увы, было не до того. Он месяцами пропадал в командировках, он почти не знал детства своего ребенка, занятый нештучными проблемами тридцатых годов. А если и возвращался на несколько дней домой — ему уже было не до того, кем, с какой душой вырастет его дочка. Вымотанный, разбитый физически и морально, безмерно страдающий от противоречий, надолго поселившихся в его душе, мог ли он думать тогда о душе ребенка? Он, кажется, и о колыбели своей, небольшой деревушке в Белгородской области, вспомнил только после Володькиной смерти и мудрых слов Дарьи Семеновны о вечной жизни души...

Внучка родилась в пятидесятом. А он опять уже был замотан Академией, срочными делами, во всю мощь развернувшейся холодной войной. А если говорить начистоту: тогда он гордился тем, что потомки рода Куликовых становятся коренными москвичами. Но он забыл, а вернее будет сказать — не знал, о внутреннем иммунитете, который не успел выработаться в его потомках к очень непростой столичной жизни... С болью и недоумением следил он за превращением Аленки в Елену Викентьевну, этакую светскую львицу с широкими замашками и завышенным чувством собственного достоинства.

Порой ему казалось, что так она мстит за проведенное в Бескамышке безрадостное детство. Но у него уже тогда хватало ума спросить самого себя: а как же быть с теми, кто родился и вырос в Бескамышке, кто в двенадцать-тринадцать лет тоже стоял за штурвалом комбайна «Сталинец», детскими ручонками выдаивал по полтора десятка коров, одевал и обувал народ...



Он часто, очень даже часто вспоминал ту минуту, когда вдруг оглянулся и увидел бегущую по деревенской улице дочку. И то, как она замерла в двух шагах от него, прижимая руки к уже обозначившейся под коротким ситцевым платьем груди, и как бросилась затем к нему, пронзительно вскрикнув — «папка!» Казалось, не было у Куликова более радостной и памятной минуты, чем вот эта первая минута встречи с дочерью после двух долгих лет войны...

И он никак и никогда не мог понять, куда подевалась та девчушка с крепкими загорелыми коленями, нежно-приветливым взглядом родных глаз и неповторимым запахом вымытых в щелочи волос... Елена Викентьевна появилась сразу, в один неуловимый момент: с тонкой, насмешливой улыбкой, скепсисом в продолговатых глазах и непоколебимой уверенностью в своем праве на новую жизнь. И Куликов, не сразу признав это право, постепенно отдалился от дочери, не чувствуя в ней самого себя...

Конечно, Викентий Изотович хорошо понимал, что и он повинен в превращении дочери из обыкновенной девчушки в женщину с большими претензиями. Но, думалось ему с обидой, дочь Куликова должна была быть умнее и выше всех этих меркантильных соображений и претензий. Иною он ее долго не хотел признавать. А признать пришлось, признать и подчиниться...

— Викентий Изотович, лекарство пора принимать, — вошла к нему Евфимия.

— А? — встрепенулся Куликов и поспешно ответил: — Хорошо, хорошо...

Настенные часы показывали четверть восьмого.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В последний раз Куликов побывал в своей деревушке в конце шестидесятих годов. Приехал он на этот раз не генералом, а обыкновенным горожанином пенсионного возраста, притомившимся вдруг от памяти о родных местах. Луиза, только что поступившая в Московский университет, совсем еще юная, беспечная и счастливая, напрасилась к нему в попутчики.

Капитолина Егоровна, как всегда в жаркие летние месяцы страдавшая от высокого кровяного давления, провожала их в дорогу. Укладывая в просторный багажник «Волги» разнообразную снедь, наказала внучке присматривать за дедом, вовремя кормить его и не давать воли за рюмкой. Последнее предупреждение было далеко не лишним, поскольку Капитолина Егоровна слишком хорошо еще помнила, как любят досыта угостить первачом в его родных местах.

И вот они в пути. Подмосковный пейзаж, не очень-то затейливый, с частыми деревеньками и городками, постепенно вылинял в березовое редколесье и просторные пашни, тянувшиеся по обе стороны дороги. Внучка, вначале чрезмерно оживленная, ахающая по любому пустяку, постепенно притихла, ушла в себя, сосредоточенно придавив указательным пальцем нижнюю губу. Куликов, занятый дорогой (не так уж часто случалось ему садиться за руль), сосредоточенности внучкиной не мешал...

Там, в родной его деревеньке — колыбели рода Куликовых, осталась теперь лишь дальняя родня. Мать померла в первый год войны, «не выдержав неметчины», как объясняли родственники, а отца он потерял еще в гражданскую войну, когда рубился Изот Куликов с бандой Махно на Чонгарском мосту.

Теперь в деревеньке жил двоюродный брат Викентия Изотовича и какая-то не то троюродная, не то вообще — седьмая вода на киселе, тетка, совсем древняя старуха с цепким взглядом оливковых глаз...

К вечеру они выбрались за границы Курской области. Потянулись вдоль дороги бесконечные вишневые сады, нарядные, беленые хаты, встречный ветер запах

солнцем и южным простором, легкое ситцевое небо высоко поднялось над тугими серо-зелеными курганами. Луиза ожила, легко вспорхнув из сосредоточенной задумчивости, опустила стекло и жадно наслаждалась тугими струями встречного воздуха. Волосы легко летели за ее плечами, молодая улыбка освещала лицо, а в глубине темно-карих глаз лучилось безграничное удовольствие.

В восьмом часу вечера они уже подъезжали к Боровлянке, неприметно вытянувшейся вдоль дороги и по обе стороны обсаженной пирамидальными тополями. Перед самой деревней Викентий Изотович притормозил и, навалившись грудью на рулевое колесо, долго смотрел перед собой.

И видел он в эту минуту знойный июльский полдень, приземистую хату под соломенной крышей, из которой вдруг выбежал странно знакомый русоволосый малец и темными от цыпок ногами потонул в обжигающе-горячей уличной пыли. Следом за ним, лениво потягиваясь со сна, появляется небольшой рыжий песик. Он вопросительно смотрит на мальчика, разевая пасть с розовым мокрым языком. Они стоят друг против друга, занятые своими нештучными проблемами, и лишь секунда остается им до того мгновения, когда внучка окликнет Куликова: «Деда, ты чего?» «Да нет, ничего, — тихо ответил он. — Давай, внучка, сразу на кладбище завернем».

Они сворачивают на проселочную дорогу, минуют какие-то старые постройки и вскоре останавливаются под тенью двух великолепных тополей, выросших над неглубоким кладбищенским рвом. Викентий Изотович медленно бредет по кладбищу, приглядываясь к новым могильным оградкам и незатейливым памятникам, на которых означены фамилии почивших людей. Почти все эти фамилии с детства хорошо знакомы ему, но конкретных людей он за ними уже не видит, поскольку люди эти выросли, состарились и умерли без него... И вот наконец тот крохотный холмик, та трогательно неухоженная земля, поросшая буйными могильными травами, ради которой и ехал сюда Викентий Изотович Куликов. Он медленно стягивает шляпу, виновато мнет ее в руке, сквозь влажную накипь разглядывая давно сгнившую оградку, набок завалившийся крест и, может быть впервые, чувствует такое неутешное горе, от которого готово лопнуть, на части разорваться его сердце.

«Одна, одна ты здесь, мама, — задыхается от подступающих слез Куликов, ничего вокруг не замечая. — И за всю-то жизнь свою горькую даже оградки хорошей себе не заслужила... Мама, гос-споди, прости меня...» Он плачет и не стыдится своих слез. И лишь благодарно чувствует, как тесно прижимается к его локтю внучка, а слегка успокоившись, смущенно поворачивается к ней и замирает в растерянном удивлении: прикрывая рот узкой прозрачной ладонью, внучка давится слезами, некрасиво покраснев надбровными дугами. «Луиза, внученька, — беззвучно шепчет пораженный Куликов, — да что же это мы?»

Потом они сидят на скамье у кладбищенских ворот, просветленные слезами и жалостью друг к другу, сидят и смотрят на деревеньку Боровлянку, хорошо видную отсюда, с небольшого возвышения. Викентий Изотович тихо говорит внучке: «Понимаешь, Луиза, это моя земля... Я очень долго думал, что в стране, в которой мы с тобой живем, любая земля родная, любая земля — моя... Оно, наверное, так и есть, внученька... Служил я в Средней Азии, и пограничная застава была моим домом, и я никогда не чувствовал себя там чужим. Я искренне полюбил Дальний Восток, и он мне по сей день близок и дорог... Но эта земля, внученька, на которой мы с тобой сейчас находимся... Ей нет сравнения... Понимаешь? Здесь похоронено столько Куликовых, что и сама земля уже как бы один из членов нашего рода... И за эту землю, внученька, за эту малую родину, я готов пройти все сначала: гражданскую войну, голод, ранения, вновь войну и вновь ранения, но никогда и никому не отдам ее...

Никогда! Нельзя, понимаешь ли, любить вообще землю, можно в полной мере любить лишь тот уголок, который породил тебя. В этом — вся суть и справедливость

нашей жизни... А уже через него, через этот уголок, самый прямой путь к любви вообще. И как бы я хотел, внученька, чтобы эта земля стала родной и для тебя...»

Он умолк, обостренным внутренним чутьем понимая, что внучка восприняла далеко не все его слова. Что-то она, наверное, попросту не поняла из-за малости своих лет, что-то посчитала стариковской блажью расчувствовавшегося деда. И тогда он сказал: «Луиза, родная, роди мне правнука!» Она резко вскинула голову, отвела волосы в сторону, долго и внимательно посмотрела на него, и только потом тихо ответила: «Мне здесь очень нравится... Мне нравится, деда, твоя родная земля...» Она не обманывала его, он это понимал, он это почувствовал в ней и страшно обрадовался. Никогда не думал Куликов раньше, что так сладостно-приятно передавать любовь к отчему краю своим потомкам. Да и как могло быть иначе, когда и в воздухе, и на земле, и в небесах — всюду присутствовал дух Куликовых, все окрест проникая своим светом и теплом. «Спасибо, — он взял внучкину руку и крепко пожал. — Как бы там ни было, а сейчас тебе большое спасибо от старика». «Что ты, grosфатер, какой же ты старик? — улыбнулась Луиза. — Ты же у нас — генерал! На тебя еще женщины, знаешь, как смотрят?» Он глубоко вздохнул, готовый еще и еще раз объяснять внучке про землю и род Куликовых, но тут же передумал и смирился: Луиза и так прониклась в первый свой приезд слишком многим. А поедет ли она сюда еще раз — это от него уже не зависит, ибо для этого колыбель его души должна стать и ее колыбелью...

Неожиданно в прихожей послышался какой-то шум, там словно бы упала вешалка с одеждой или обвалилась антресоль со старым барахлом. Викентий Изотович прислушался, скосив глаза на часы — было ровно десять часов вечера. Шум в прихожей очень напоминал появление в доме Луизы, но она, как догадывался Куликов, должна была сейчас находиться на материной свадьбе. Или как они теперь это называют — вечеринка, ужин?

От воспоминаний о родной Боровлянке, о последней поездке туда на сердце у Куликова было легко и грустно. Он и сам не смог бы объяснить, вспоминал ли все это в реальной жизни, видел ли во сне, но так томительно-сладко, больно и радостно ему было там, возле небольшого деревенского кладбища, что он невольно пожалел о возвращении сюда, в большую холодную комнату, на твердо-упругую поверхность кровати. Казалось, что в том тихом вечернем свете угасавшего летнего дня осталось у Куликова все, что еще было в нем живого, чувственного, с чем пришел он к родным пределам, пришел с неожиданно больным и горьким сознанием вины перед ними. И вот это чувство вины, настигшее его на пороге старости, было для Куликова удивительнее всего.

Четырнадцать лет, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, уйдя из отчего дома, он ровно половину века мотался по самым разным уголкам необъятной страны, ни разу не заболев сердцем по Боровлянке. В редкие, краткосрочные наезды он чисто механически отдавал дань тому месту, где родился и провел свое детство. Может быть, поэтому Капитолина Егоровна осталась равнодушной к его родине, что он и сам в те наезды ничего к ней не испытывал. Едва появившись в Боровлянке, он уже думал о скором возвращении в Москву, об оставленных неотложных делах. И земля, колыбель его души, тоже оставалась к нему равнодушной — не звала и ничего не обещала... И вдруг...

— Grosфатер, ты не спишь?

На пороге его комнаты стояла Луиза.

— Нет, не сплю, — настороженно ответил Куликов, во все глаза рассматривая внучку, которая была на этот раз в черных вельветовых штанах и ярко-красной кофточке с отложным воротником. — А ты разве не на даче?

— Как видишь, — внучка прошла к столу и выдвинула стул. — Впрочем, мой дорогой генерал, я только что оттуда. На маминной машине... Она, между прочим, в полном трансе. Просто сходит там с ума...

— А что, собственно, случилось? — у Куликова тревожно дрогнуло сердце.

— Она говорит, дорогой grosфатер, что ты как-то не так поговорил с ней по телефону, — усмехнулась Луиза, вертя в руках шариковую ручку со стола. — Что ты не захотел выслушать ее до конца... А она хотела сказать что-то, ну — очень-очень важное... Ты же знаешь маман...

— Почему же она не позвонила еще раз?

— Она только этим и занималась, но телефон у вас молчит.

Куликов нахмурился и тяжело вздохнул. Он вспомнил, что за последний год дочка лишь дважды наезжала к нему — в день материной смерти и когда он вернулся из госпиталя. А так они общались исключительно по телефону, решая самые разнообразные вопросы и обмениваясь новостями. Он настолько привык к этому, что искренне был благодарен дочери за частые звонки, которые обычно начинались с трогательных и подробных расспросов о его здоровье...

— Сходи, внучка, подключи телефон, — попросил Викентий Изотович.

— Ты хочешь поговорить с мамой?

— Да, я хочу поздравить ее с законным браком.

— Ну, что же — давай, — усмехнулась Луиза.

Пока она несла подключенный телефон из прихожей, он непрерывно дребезжал, возмущенно захлебываясь в электрическом негодовании. За дверью в прихожей промелькнуло рассерженное лицо Евфимии, показавшееся Викентию Изотовичу почему-то неестественно бледным и встревоженным...

Куликов взял трубку и тут же услышал рыдающий голос дочери:

— Папа, это ты?!

— Я, конечно...

— Гос-споди, наконец-то! Вы что там, телефон отключили?

— Да... Сегодня был врач, и он не велел мне...

— А Евфимия у тебя зачем? — окрепшим голосом перебила Елена Викентьевна. — Она-то могла подойти к телефону? Нет, папа, я решительно тебя сегодня не понимаю...

— Что, собственно, случилось? — спросил Куликов, перехватив любопытно-насмешливый взгляд Луизы, боком присевшей на широкий подоконник.

— Как — что?! Я ведь тебе говорила, папа, какой у меня сегодня день... Ты что, забыл?

— Нет, не забыл... Кажется, я даже поздравил тебя с этим событием?

— Но ты не дослушал меня, бросил трубку, — сдерживая раздражение, говорила на другом конце провода дочка. — А я только собиралась сказать тебе самое важное... Из-за этого у меня здесь все пошло кувырком... Честное слово, папа, у тебя портится характер...

— Я не смог тебя дослушать, родная, — хмуро сказал Куликов, — мне стало плохо...

— Вот как... А зачем надо было телефон отключать?

— Что ты хочешь от меня, Елена?

В это время Луиза легко спрыгнула с подоконника, подседа к деду на постель и, повернув трубку в руках Куликова к себе, не очень-то вежливо прокричала в нее:

— Мамочка, кончай над дедом измываться!

— В чем там дело? — возмутилась Елена Викентьевна.

— Это Луиза...

— Она все еще не наигралась? Понимаешь, меня здесь люди ждут и ждут уже давно... Между прочим, приехал и тот советник посольства, о котором я тебе говорила.

— Ничего не понимаю, Леночка, я-то тут при чем? — искренне удивился Куликов.

— Она хочет, деда, чтобы ты ее благословил, — быстро прошептала внучка. — Они из-за этого за стол не могут сесть.

— Понимаешь, папа, раньше существовал один замечательный обычай, — говорила между тем Елена Викентьевна. — Ты о нем прекрасно знаешь. Может быть, даже лучше меня... С Юрием у нас была, как ты помнишь, просто комсомольско-молодежная свадьба. Теперь же, папа, я очень хочу венчаться в церкви... Так многие теперь делают, — поспешно добавила дочка. — А для этого мне нужно родительское благословение, то есть — твое... Вот, значит, такие дела...

И все-таки Елена волновалась. Она еще не до конца уверовала в свое право на эту просьбу... Куликов понял это ее волнение и нерешительность. Нет, конечно же, он не стал возражать и спрашивать ее о том, за что же он воевал в гражданскую, какие принципы утверждал всю свою сознательную жизнь...

Примерно через час, в половине двенадцатого ночи, Куликов почувствовал себя плохо. Он не смог бы сказать, даже самому себе объяснить, что именно у него так сильно заболело или разладилось в организме, в результате чего ему и стало так плохо. Просто непонятная слабость пришла к нему откуда-то изнутри, сковала по рукам-ногам, и неприятный, незнакомый ему доселе холодок недуга, словно бы на короточках притаился в самом центре надсаженного сердца.

Викентий Изотович торопливо потянулся за стаканом с брусничным соком, но с удивлением обнаружил, что рука его и на сантиметр не сдвинулась с одеяла. Куликов попробовал повернуть голову и — не смог. Луиза, с которой они только что разговаривали о Костеньке, в кармане брюк которого Евфимия неожиданно обнаружила сигарету с фильтром, удивленно взглянула на него и побледнела.

— Деда, что это ты? — испуганно спросила она.

— Мне плохо, Луиза, — с трудом прошептал Куликов. — Я умираю...

— Что ты! Что ты! — испуганно вскрикнула внучка, быстро наклоняясь над ним.

Но, видимо, и в самом деле что-то было такое в его лице, от чего зрачки Луизы расширились, и она отпрянула от постели, хватая трубку с аппарата и никак не попадая на нее рукой.

— Не надо, — едва вышептал Куликов. — Обещай мне, Луиза... Я тебя прошу...

— Что? Что ты хочешь, деда? — растерянная Луиза склонилась над ним.

— Боровлянка... Не забывай про нее, Луиза... Там... Там наши корни... прошу...

Глаза Куликова закрылись, он плотно сжал губы, и горькое выражение навсегда застыло на его лице.

Часы на стене показывали без четверти двенадцать ночи...

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Весь день было пасмурно, с низовий тянул свежий ветер, вылизывая первые снежные струги по-над берегом, наваянные поперек реки. Охолодавшие с непривычки вороны темными наростами прилепились среди голых ветвей молодого осинника. Поглядывая на близкие дома, они изредка поднимались на крыло и, хрипло ругаясь в морозном воздухе, вновь падали на деревья. Низкое серое, без единой прорехи небо едва приметно глазу стекало за горизонт, а в противоположной стороне невидимые ткачи все ткали и ткали это бесконечное полотно. И вдруг, под вечер уже, над селом разорвало тучи — круглое, большое отверстие, похожее на свежую прорубь,

протянулось сквозь многослойные облака до ослепительно-яркой, пронзительной голубизны. Лишь несколько минут сияла эта голубизна, освещая ближайшие сопки, заснеженный Амур, Большое озеро, а затем подоспели расторопные ткачи и быстро заштопали образовавшуюся дыру. И вновь придавленная тучами земля погрузилась в молчаливое зимнее забытье, терпеливо поджидая грядущие сумерки...

Отправив Степаниду Ильиничну с Люсей на совхозной машине домой, Ванятка и Петр Ефимович пешком возвращались с кладбища. Холодный ветер пробирал до костей, но они, казалось, не замечали этого. Ванятка, забегаая вперед, заглядывал дядьке в лицо и торопливо выкрикивал:

— Я сам, дядя Петя, хотел с ними ехать, так не пустили меня... Места им жалко было в машине, что ли? А я бы, дядя Петя, того шофера там же и кончил... Честное слово, кончил бы!

— Да что теперь, Ваня, не поправишь, — хриловато пробасил Петр Ефимович, пряча в воротник шинели крупный покрасневший нос. — Природа, так сказать, она свое берет...

— Ты, дядя Петя, не видел его, — волнуясь, кричал Ванятка. — Он же еще сто лет мог прожить... Он за день до этого все по дому сделал сам. А тут этот осколок откуда-то взялся...

— Ничего не попишешь, — упрямо гнул свое Петр Ефимович. — Судьба...

— Оно, конечно, судьба, — сник Ванятка и перестал забегать вперед.

Некоторое время шли молча, миновав животноводческие фермы и первые деревенские дома. Потом Петр Ефимович спросил:

— Ты, Ваня, жениться-то будешь когда-нибудь?

Ванятка опешил и с подозрением покосился на подполковничий погон своего дядьки. Ему казалось большим грехом не только говорить, но даже и думать о чем-то постороннем сейчас, когда земля над дедом еще не успела остыть и промерзнуть. Ванятка, наверное, не удержался бы и наговорил кому угодно такого... Но в нем еще слишком памятна жила солдатская робость перед погонами с большими звездочками, а потому он лишь хмуро ответил:

— Буду, конечно...

— Смотри, — усмехнулся дядька, — а то всех разберут.

Дома уже накрывали на стол. Степанида Ильинична, опухшая от слез, не слушая возражений дочери и внучки, возилась у плиты.

Все оставалось прежним и все в этом доме уже было не так: горкой лежали на комодке медали и ордена Сыромятина, которые без хозяина вдруг превратились в обыкновенные металлические кружляшки. С изрядно потрепанного паспорта, раскрытого кем-то на первой странице, смотрел неестественно напрягшийся, строгий Ефим Петрович. И только теперь вдруг стала заметна какая-то грустная озабоченность в его прямо устремленных на фотографа глазах. Мрачно темнело над комодом зеркало, аккуратно закрытое черной тканью. Запах бумажных венков, сгоревшего воска и еще чего-то такого, терпко-горького, присущего всем домам, из которых недавно вынесли покойника, особенно остро ощущался после морозного воздуха улицы. На двух столах, поставленных посреди горницы встык, уже стояли в глубоких тарелках кутья и крупно порезанный пшеничный хлеб.

Ванятку, едва он появился, отправили управляться возле скотины. Петр Ефимович, крепко раскашлявшись с мороза, курил возле печки папиросу, пуская синие струи дыма в приоткрытую топку совсем так, как это делал его отец.

— Из леспромхоза кто придет или нет? — с сомнением спросила Нина Ефимовна.

Ей никто не ответил.

— Мама, холодец заносить? — спросила Людмила, больше всех суевившаяся на кухне в красном ситцевом фартуке.

— Неси, — невнимательно ответила Нина Ефимовна.

— А ребяток когда будем кормить? — глуховатым голосом спросила Степанида Ильинична, устало опускаясь на табурет.

— Пусть едят со всеми, — отмахнулась Нина Ефимовна.

— Еще чего! — услышала ее Людмила, ставившая тарелки с холодцом на столы. — Детей покормим отдельно...

— Как знаешь, — не стала спорить Нина Ефимовна, расставляя тарелки и столовые приборы на столе. — А только чего им от людей хорониться?

Людмила, невысокая, ладная блондинка с шестимесячной завивкой и крепкими в икрах, полноватыми ногами, развивать тему о проблемах воспитания детей не стала...

Собралось за столом двенадцать человек. Кроме своих, были соседи, председатель рабочкома из леспромхоза и Савелий Игнашкин с Григорием Лукиным — фронтовики, давнишние приятели покойного Ефима Петровича. Разлили по граненым стограммовым стопкам водку, подняли их, сдерживая руку от привычного движения — чокаться, молча выпили. Даже Степанида Ильинична пригубила свою стопку, сощуриив горестные глаза. Вяло, без охоты закусили. Посидели в неловком молчании, поглядывая на портрет Сыромятина, обвитый черной лентой.

— Ну, что, товарищи, пусть будет пухом земля для Ефима Петровича, — негромко сказал Григорий Лукин, тяжело приподнявшись из-за стола и коротко взглянув на Степаниду Ильиничну. — Надо так понимать, что подошел и наш срок...

На этот раз хорошо закусили: кто холодцом, кто подцепил квашеной капусты с лучком, огурец или ломтик городской колбасы, привезенной Людмилой.

— Я вот что скажу, — встал из-за стола председатель рабочкома Скуратовский, лысый череп которого странно белел в комнатном полусумраке. — Сорок три года отработал Ефим Петрович Сыромятин в нашем леспромхозе. А это, товарищи, почти два трудовых стажа... За эти годы он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, дважды избирался делегатом на Всесоюзный смотр передовиков соревнования нашей отрасли. Я не буду задерживать ваше внимание, скажу только одно: нам уже теперь недостает Сыромятина...

За столом оживились, начали вспоминать все то доброе, что успел сделать за свою жизнь Ефим Петрович. А успел он, что оказалось несколько неожиданно для близких, довольно много.

— Жить — мучиться, а помирать все равно не хочется, — сказал Савелий Игнашкин и переступил деревянной ногой, глухо ударив металлическим наконечником в пол. — Но она, как говорится, нас не спрашивает... Ефим фронт прошел, две похоронки на него доставлялись, а он жить остался, перехитрил он там ее. А тут вот... — Савелий насупил, вновь ступил на свою деревяшку. — Солдатом он был завсегда, и солдатом — хорошим... Я так понимаю — за это надо выпить.

Степанида Ильинична слушала и не слушала то, что говорили за столом о ее муже. Она понимала, что слова говорят необходимые, нужные именно в эту минуту, и в то же время безмерно тяжело ей было от всех этих слов, заслоняющих от нее живого Ефима Петровича. И все припоминался он ей таким, каким провожала она его в районную больницу: в синей клетчатой рубашке, застегнутой на все пуговицы, с тремя орденскими планками на пиджаке, необыкновенно пригожий и словно бы уже чужой. Она все думала и никак осмыслить не могла — почему чужой? Откуда взялось в ней это нелепое, случайное чувство? А вот теперь, за столом, вдруг поняла, что он, Ефимушка-то ее, уже тогда не принадлежал ей. Что она, вездесущая, уже стояла за его спиной, уже отсчитывала последние минуты, отпущенные ему для жизни. И он,

Ефим Петрович, не случайно сказал на прощание: « Степа, ты Людмилку в дом зови, с детьми пусть возвращается домой... И не убивайся, не надо, все там будем... Там и встретимся, наверное... » Он, видимо, уже чувствовал ее зов...

— Мы, его дети, — говорил в это время Петр Ефимович, — всегда понимали, что наш отец не просто один из мужиков в деревне, а очень авторитетный, уважаемый среди них человек... Ко мне это сознание очень рано пришло, и я всегда буду благодарен отцу за то, что он дал мне возможность гордиться им и стремление — походить на него. — Петр Ефимович хрипло прокашлялся, взглянул на мать и добавил: — И с мамой они жили хорошо, дружно, а значит — и нам возле них было хорошо...

— Правильно, Петро, верно ты это сказал, — поддержала его Нина Ефимовна. — Все бы так жили.

— Он и дед был что надо! — вставил свое слово Ванятка.

Потом пили чай, а Людмила между делом потихоньку убирала со стола.

Первым поднялся Скуратовский. На прощание сказал Степаниде Ильиничне, вежливо склонившись над нею:

— Вам мы всегда поможем, не беспокойтесь... Ремонт дома, дрова, сено — наша забота.

— Спасибо, — просто ответила Степанида Ильинична.

Потом ушли соседи, так как настала пора управляться по хозяйству. Поднялись и Савелий Игнашкин с Григорием Лукиным.

— Кто знает, когда чей черед, — сказал Григорий, уже весь высохший, истощенный какой-то внутренней болью. — Может, завтра и мне туда собираться... Теперь вот им, — он кивнул седой головой в сторону Ванятки и Людмилы, — жить на грешной земле, а мы свое уже отжили...

— Дак, не хотят они жить на своей земле, — вздохнула Степанида Ильинична. — Их все городские пряники манят.

— А это уже их дело, Ильинична, — Григорий глянул на портрет Сыромятина, поминал короткими белесоватыми ресничками и осторожно пошел из кухни.

— Пошто ты без Таисьи-то? — спросила Степанида Ильинична приунывшего Савелия Игнашкина.

— Так это, значит...

— Ох, прости, — вспомнила Степанида Ильинична. — Выписать-то когда ее обещают?

— К праздникам обещали, если, конечно, все нормально будет...

— А я вот, — Степанида Ильинична неожиданно всхлипнула, поднимая к Савелию широкое доброе лицо, — одна теперь осталась...

— Как же — одна? — строго пристукнул деревянной ногой Игнашкин. — Вон их сколько у тебя, и все — один краше другого... Тебе возле них только жить да радоваться, а ты — «одна».

Степанида Ильинична даже вздрогнула и вопросительно посмотрела на Савелия — до того похожи на последнее напутствие Ефима Петровича были его слова.

— Что делать, Степанида, — печально заключил Савелий Игнашкин, — вечных людей нет. А твой Ефим, слава богу, пожил — дай-то бог каждому так! И герой, и человек был — душа... А теперь что же: молодым — расти, старым — стариться... Так оно от веку было, так и осталось.

— Баба! Баба! Бабушка! — вбежали в дом возбужденные Маринка и Олег — правнуки Степаниды Ильиничны. — Там у вас коровка бодается!

Марина, третьеклассница, явно пошла в бабушку — личиком широкая, а черты лица мелкие и милые. Олег пошел в отцовскую породу — чернявый, стройный, чуть чего — в обиду, и побледнеет сразу, и затрясется...



— Какая коровка? — удивилась Степанида Ильинична.  
— А без рог которая, маленькая.  
— Ванятка, ты нетель привязал? — сразу же все сообразила Нина Ефимовна.  
— Всенепременно, — неуверенно ответил Ванятка.  
— Сходи, привяжи...  
— Будь сделано! — вскочил Ванятка, попутно дергая Маришку за светленькую кошечку.

— Дядь Ва-аня, чего ты? — обрадованно прошептала Маринка, прижимая руки к груди и опуская голову.

— Дядь Ваня твой еще не наигрался, — добродушно проворчала Нина Ефимовна, притягивая Маришку и целуя ее в голову.

Олег посунулся к бабушке с другой стороны, требуя свою долю ласки.

И никто, кроме Степаниды Ильиничны, не заметил, как быстро и легко отошли все мыслями от покойника, и как просто и естественно переключились на обычные, повседневные дела, которые, смерть там или не смерть, а требовали к себе внимания. И вот уже всохотнул довольный Олег, норовя оттиснуть сестру от бабушкиных колен. Широко улыбаясь, поглядывал на них от печки Петр Ефимович, неуверенно крутя в руках папиросу. А Савелий Игнашкин в нерешительности притулился спиной к косяку.

— А что, Савелий, может — на посошок? — спросила его Степанида Ильинична.

— Это можно, — степенно согласился Савелий и вопросительно взглянул на Петра Ефимовича. — Как ты полагаешь, товарищ подполковник?

— Полагаю, что нужно! — легко откликнулся Петр Ефимович.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ночью Степаниде Ильиничне не спалось. Ко всему прочему разболелись, видимо к непогоде, ноги, и так их выкручивало, так ломало, что хоть плачь. Не выдержав боли, она достала из-под кровати флакон со скипидаром и стала растирать безобразно толстые, похожие на две тумбы, больные ноги. Проснулась Людмила, спавшая под окном на тахте. Услышав, как ворочается она в постели, Степанида Ильинична порадовалась, что Маришка с Олегом ушли ночевать к своей бабушке — там-то им вольно и покойно будет.

— Что, баба, ноги болят? — спросила Людмила таким бодрым голосом, словно и не спала совсем.

— Болят, внученька, ой, болят! — пожаловалась Степанида Ильинична.

— Тебе бы на курорт, на грязи съездить... Неужели мама не может для тебя путевку взять?

— А как же я туда доеду? — вздохнула Степанида Ильинична. — Мне ведь сопровождающий нужен, а где его взять? Все работают, все своими делами заняты... Ты мне лучше расскажи, Людмила, как в городе живешь?

— Живу как все, — сразу насторожилась внучка.

— Валерка-то заходит, ай нет?

— Это еще зачем! — фыркнула Людмила. — Нечего ему у нас делать...

— Как же так, — удивилась Степанида Ильинична, — родной отец твоим детям и делать ему у тебя нечего? Чудно как-то...

— Был отец, да весь вышел, — крутнулась Людмила на тахте так, что пружины застонали. — Таких отцов по белому свету знаешь сколько!

— Что-то не упомяну я, — задумчиво сказала Степанида Ильинична, — чтобы мы в наше время так мужьями бросались.

— Так то, бабушка, в ваше время, — насмешливо ответила внучка. — А теперь конец двадцатого века на дворе.

— Ну и что? Дети, они в любое время — дети, хоть в наше, хоть в ваше время... Им, Людмила, отец нужен... Вон, посмотри на своих, как они к Ванятке тянутся... Это тебе о чем-то говорит или нет?

— Я с Валеркой жить не буду! — отрезала недовольная внучка.

— Да что же он такого сделал тебе, что хуже любого врага стал? — удивленно воскликнула Степанида Ильинична.

— А ничего не сделал... Я с ним восемь лет прожила, а чего видела? С работы — домой, из дома — на работу... Когда жениться собирались, он мне чего только ни наплел: и в театры будем ходить, и всю страну объездим, и на машину будем копить... Ботало несчастное! — зло отрезала Людмила. — Даже квартиры нормальной не смог добиться, а уж что там про машину говорить...

— Квартиры, они ведь с неба не падают, внученька.

— Правильно! Он вполне мог бы на пару лет на Севера уехать и оттуда денег на кооператив привезти, а он... Тьфу! Не хочу о нем говорить...

Почувствовав, что внучка распалилась всерьез, Степанида Ильинична сменила разговор:

— Может, Людмила, у тебя кто-то на примете уже есть?

— Никого у меня нет и не надо! — все еще вгорячах ответила внучка.

— Я чего тебе хотела сказать, — издали начала главный разговор Степанида Ильинична, плотнее укутывая ноги одеялом и уже различая в темноте светлый квадрат окна, под которым была Людмила постель. — Ты вот там маешься занапрасно, ребятишки ничего хорошего у тебя не видят, сама вся издерганная, а ради чего все это? Ради театров этих, в которые ты все равно не ходишь? Тебе квартиру когда обещают дать?

— Ой, бабуля, не скоро, — вздохнула Людмила. — У нас и малосемейки-то — в драку...

— Вот видишь... А теперь, без мужа, и подавно скоро не дадут.

— Ты это к чему клонишь? — насторожилась Людмила.

— А к тому, внученька, что тебе от деда был наказ оставлен...

— Мне? От деда? — удивилась Людмила и уже с любопытством спросила: — А что за наказ?

— Наказ, внученька, такой, — строго, со значением начала Степанида Ильинична, невольно волнуясь и пытаясь это волнение в голосе скрыть. — Чтобы тебе, Людмила, вместе с детьми в этот вот дом вернуться... А что, внученька, — заспешила Степанида Ильинична, — я уже старая. Скоро и мне вслед за дедом надо собираться. Вот и останешься ты полной хозяйкой в доме. Чем плохо-то? Огород есть, садик какой-никакой имеется, скотины, птицы полный двор. Все у тебя будет свое, не из магазина, ребятишки при молоке да свежих овощах поднимутся. Опять же — мать под боком, в случае чего и брат поможет... А главное — земля здесь тебе не чужая, корни твои здесь, Людмила. Так вот дед и просил тебе передать...

Наступила долгая пауза, в течение которой Степанида Ильинична не знала, что и подумать. Наконец внучка шевельнулась на тахте и тихо ответила:

— Ничего не выйдет, бабуля.

— Это как же так? — испуганно удивилась Степанида Ильинична. — Ведь воля покойного — закон...

— Я уже одиннадцать лет в городе живу, — не слушая бабушку, говорила Людмила. — Меня на швейке все знают, начальство уважает... И когда мне осталось года два-три до настоящей квартиры подождать, вдруг все бросить и уехать? Дудки... А работать где я здесь буду? С мамой на ферме коров доить? Спасибо...

Я этой работой с детства сыта по горло. У меня там ребяташки на секции ходят, а здесь? Нет, бабуля, так не пойдет. Я еще не совсем свихнулась... Мне надо — я на базар пошла, мяса, овощей купила, в магазине творог со сметаной завсегда есть. А тут мне из-под коровы да от чушек ваших будет не отойти, а жить когда? Спасибо, конечно, за приглашение, но я уж как-нибудь в городе перекручусь...

— Ишь ты, как заговорила, — с обидой проворчала Степанида Ильинична. — Среди коров-то выросла и ничего, а теперь...

— А теперь — не хочу! — отрезала Людмила.

— Кто же за домом нашим присмотрит?

— А что за ним смотреть? Продайте... С мамой жить будешь.

На кухне загремела табуретка, и вскоре оттуда потянуло табачным дымом. Петр, видимо, давно уже не спал и теперь не утерпел, закурил. Обрадованной Степаниде Ильиничне показалось, что сейчас он вступится за дом, поддержит ее, но сын промолчал...

Обиженная Степанида Ильинична притихла, затаилась, с недоумением осмысливая разговор. Она, конечно же, не надеялась, что внучка сразу согласится вернуться домой, но и такого категорического отказа от нее не ожидала. Теперь она уже жалела, что затеяла все это в одиночку, без Нины Ефимовны, которая, в отличие от нее, могла бы и прицкнуть на своевольную дочку. Но вместе с тем Степанида Ильинична хорошо понимала, что никакие подпорки уже не помогут, что Людмила теперь — отрезанный ломоть. И лишь некоторое время еще держалась в ней обида на сына, который давно занял очень легкую и удобную позицию — ни во что не вмешиваться. Я, мол, сам по себе, а вы здесь — сами по себе...

Уже ровно и глубоко задышала Людмила, уже всхрапнул у себя Петр, а сон к Степаниде Ильиничне никак не шел. Вроде бы и ноги отпустило, и день позади не из легких, а не было сил заснуть. Лежала она на спине с широко открытыми глазами, лежала подле внучки и рядом с сыном, а вроде бы — как одна... И припомнился вдруг ей день, когда Петр Ефимович вернулся с войны. Уже катера всюю по Амуру бегали, уже летнюю горбушу в колхозе готовились встречать и бригадир предупредил, что ждут ее на пугину в разделочном цеху. В общем, лето пришло-таки и сюда, на суровую приамурскую землю. А тот памятный для нее день и вообще чудным зародился...

С утра, под благодатным солнцем, неслыханно распелись птицы на тополях. Порхали бабочки, гудели пчелы, озабоченно обследуя за огородами буйно поднявшиеся травы, стремительно проносились, сверкая в солнечном воздухе, стрекозы. В лесах уже расцвели жасмин, шиповник и бархат, распушились лозы дикого винограда. А по лугам яркими звездочками рассыпались лилейники, белели василистник и волжанка. В общем — благодать неопишуемая... Дойное стадо к тому времени уже выгнали на летнее пастбище, и Степанида Ильинична передала свою группу коров молодой помощнице, только что закончившей школу. Сама же определилась в полевую бригаду на заготовку сена, поскольку надолго отрываться от дома из-за ребяташек не могла. Они хоть и подросли — Нинке двенадцать исполнилось, Петеньке восьмой годик доходил, а без присмотра не оставишь. Особенно — за мальцом. Озорной непоседа, скорый на всякую выдумку и шлоду, от него что угодно можно было ожидать...

Вот и в этот день они обширкивали литовками релки недалеко от реки, подбирая хоть и неважнецкую по вкусу, но густую и высоко вымахавшую траву промеж кочкарника, в сильные паводки уходившего под воду. Ближе к обеду, в самый солнцепек, Степанида Ильинична спустилась к реке сполоснуть потное лицо и краем глаза успела заметить корму скрывающегося за излучиной катера. И как кто торкнул ее в сердце, догадкой ожег: Ефим! Выпрямилась она над водою, а сердце колотится, словно она на самую высокую гору взбежала. Смотрит за излучину, а там уже давно никого и ничего

не видно. И вдруг сорвалась она с места и напрямиком, не разбирая дороги, помчалась домой. До деревни около трех верст было, да все по марям и перелескам, а она так ни разу и не остановилась передохнуть. Упала на ступеньки у себя на крыльце, сил подняться и в дом войти — нет. Сидела, комкая ситцевый платок в руке, чего-то ждала. Из-за угла вывернулся Петенька, в руке самопал из медной трубки. Увидел мать, опешил, не знает, куда руку с самопалом девать. А она и внимания на опасную игрушку не обратила, говорит только ему: «Сынок, родимый, полезай на крышу да посмотри, к нам с катером кто-нибудь приехал...» Петеньке два раза не надо было повторять. Взлетел он на самую верхотуру, откуда хорошо брандвахта просматривалась, руки биноклем к глазам приставил и сообщает: «Ага, мама, там катер пятится, сейчас его привязывать будут». — «А на катере кто?» — «Люди какие-то, не наши». — «Смотри хорошенько, Петя... Военные там есть или нет?» — «Ага, теперь они с катера спускаются по трапу. И военный с ними... Ого, вся грудь в орденах! Медали так и светятся». — «Беги, Петенька, беги скорее, папка твой приехал!» Сказала, а у самой в глазах все поплыло, закачалось и вроде бы провалилось куда-то... А как в следующий раз глянула Степанида Ильинична на улицу — Ефим Петрович — вот он уже. В одной руке вещмешок держит, на другой Петенька сидит в отцовской пилотке и эрзац-шоколад наворачивает. И так тепло на улице, куры кудахчут, купаясь в пыли, стрекозы с ласточками летают, а Ефим Петрович все идет и идет к ней и нерешительно улыбается в рыжие усы. А потом он остановился, рюкзак прямо в пыль опустил, Петеньку на землю ссадил и руки раскинул. И она тотчас в эти руки, словно по воздуху, вплыла, и жарко поцеловала мужа в колючую щеку, в шершавые губы, остро ощущая чужой, словно бы немецкий еще дух, исходивший от его одежды. А когда они опамятавались и глянули на сына — Петенька безутешно плакал... Приревновал жгучей детской ревностью отца к матери. Переглянулись они, счастливо засмеялись и враз, с двух сторон, к Петеньке потянулись...

Вздохнула Степанида Ильинична, тяжело повернулась на правый бок и смежила глаза...

А утром все уже пошло своим чередом. Петр Ефимович, едва попив чая, засобирался на рыбалку. Как ни старалась отговорить его Степанида Ильинична, не смогла: напялил старый отцовский полушубок, валенки с калошами, прихватил пещню, сачок и был таков.

После дойки забежала Нина Ефимовна, удивилась:

— Мама, куда ты их всех подевала?

— Петро на рыбалку ушел. Людмила к подружкам сбежала, — ответила Степанида Ильинична, сидевшая на кухне за столом.

— Они хотя бы управились возле скотины?

— Где там, — усмехнулась Степанида Ильинична. — Спасибо, Петро дров к печке наносил.

— Вот я им! — заругалась Нина Ефимовна. — Пусть только придут... Совсем совесть потеряли.

— Не ругай ты их, — остановила дочку Степанида Ильинична. — Видно, так тому и быть...

— Что такое, мама? Ты это о чем? — насторожилась Нина Ефимовна.

— Да все о том же... Как ни крути, доченька, а надо будет скотину продавать... Поговорила я нынче с Людмилкой — она и слышать не желает, чтобы домой вернуться... А тебе, Нина, два дома никак не потянуть. Да и ни к чему это вовсе.

— Та-ак, — задумчиво протянула Нина Ефимовна. — Ты только подожди, мама, не спеши... Я вот что подумала: оставлю-ка я Ваньку в своем доме, а сама к тебе переберусь. Вот как помыкается он один-одинешенек, так быстро жениться надумает. А так-то что ему не жить? Я его кормлю, обстирываю, прибираюсь за ним...

Степанида Ильинична слушала дочку, и на сердце у нее постепенно отмякало, легче становилось дышать, но в глазах так и оставалась легкая грусть, поскольку знала она, что это не выход...

Из соседней комнаты со стены смотрел на жену строго-опечаленный Ефим Петрович Сыромятин, словно бы хорошо понимая ее положение, сочувствуя ей, но не в силах ничем помочь.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

А в Москве все не кончался мокропад, все тащились с Севера за Урал низкие серые тучи, цепляясь за крыши высотных домов и слегка раскачивающуюся Останкинскую башню. И все сеялась над огромным городом эта самая мокрядь — не то дождь со снегом, не то снег с дождем. Мокрый асфальт тяжело, по-угольному блестел, по нему с шипением проносились машины, оставляя после себя белопенный след. Люди, одетые кто во что горазд — в кожаные плащи и пальто, дубленки, осенние пальто и болоньевые куртки, спешили в укрытие, брезгливо отряхиваясь в подъездах от мутноватых капель, после которых на кожаных вещах оставались грязные пятна. В подземных переходах и метро продавали алые гвоздики, но редкий человек останавливался, чтобы приобрести цветы, так не гармонировавшие с окружающим миром. Разбрызгивая лужи, носились по столице такси, и жизнерадостные таксисты весело скалили зубы за лобовым стеклом: по такой погоде пассажиров было — хоть отбавляй...

К газетному киоску на Пушкинской площади подошел седенький сутулый старичок с тростью в руке, бородкой клинышком, в сером просторном дождевике. Порывшись в кошельке, он протянул в окошечко серебряную монетку и поздоровался с киоскершей. Молча кивнув в ответ, женщина протянула ему газеты «Правда», «Вечерняя Москва» и «Красное знамя». Поблагодарив, старичок принял газеты узенькой желтоватой рукой, чем-то неуловимо смахивающей на куриную лапку, и прошел под арку, где за стеклом располагалась постоянно действующая выставка технических достижений. В свете неоновых ламп он развернул «Правду», беголо просмотрел заголовки и взялся за следующую газету. С первой полосы «Красного знамени» на него пристально взглянул из траурной рамки человек с продолговатым лицом и едва заметным на фотографии шрамом через левый висок.

— Вот так-так, — удивленно прошептал старичок, щуря маленькие голубые глаза. — Какая новость...

Свернув газеты, он невнимательно взглянул на экспонаты выставки, глубоко вздохнул, поправил своей куриной лапкой серого цвета кашне и направился вниз по улице Горького. Возле Дома актера он не выдержал, вновь развернул «Красное знамя», пристально вгляделся в портрет и довольно отчетливо сказал:

— Смерть, гм... она для всех едина.

После чего торопливо застучал тростью по тротуару и вскоре скрылся среди узких старинных переулков Москвы.

Луиза в прихожей разговаривала по телефону. Была она в теплом домашнем халате, растрепанная и помятая со сна.

— Да, я хорошо тебя слышу, — позевывая, говорила она. — Нет, не успела... А когда? Ты ведь прекрасно знаешь, что такое похороны... А мне твои сроки... — Луиза начала нервничать. — Я повторяю, Сережа, приезжай и смотри сам. Сколько захочешь, столько и смотри... Нет, не знаю! Как хочешь...

Она опустила трубку на аппарат и пошла в ванную комнату.

На кухне Евфимия раскатывала тесто. Пока Луиза разговаривала по телефону, она внимательно прислушивалась, а потом вновь принялась за дело. По радио пропикало ровно одиннадцать часов утра. Была суббота...

— Евфимия! — крикнула из ванной Луиза. — Меня дома нет...

— Хорошо, — ответила женщина, локтем убирая волосы со лба.

Пройдя в комнату Куликова, из которой уже была убрана кровать, Луиза отдернула шторы, покрывилась, глядя на плачущие окна, зябко передернула плечами и подошла к письменному столу, на котором лежал траурный портрет генерала Куликова. Вглядываясь в словно бы незнакомое лицо деда, которое казалось ей непривычно строгим, она вздохнула, отложила портрет в сторону и достала из ящика стола две папки: красную и зеленую.

— Представляю, — усмехнулась Луиза, дергая тесемки красной папки.

Аккуратно рассортированные по годам, сшитые металлическими скрепками, лежали перед нею письма бабушки, Капитолины Егоровны. Было их много, на листочках в клеточку из ученических тетрадей, на плотной желтой бумаге, похожей на обои, на фирменных бланках и, наконец, на красивых лощеных листах. Крупный, падающий вправо почерк бабушки легко разбирался, и Луиза прочла наугад: «А еще отпишу тебе, дорогой мой, что у нас отключили газ, и мне стало трудно готовить для Леночки. Ты ведь знаешь, как долго все готовится на керогазе, а мне некогда часами сидеть возле него...»

— Проблемы, — усмехнулась Луиза, заглядывая в конец страницы: это был тысяча девятьсот двадцать девятый год.

И еще в нескольких письмах она ровным счетом ничего интересного для себя не нашла: писалось в них о бесконечных болезнях Леночки, о холодной весне и соседях. Луиза перелистала сразу несколько лет и в тысяча девятьсот тридцать шестом году наткнулась на любопытные строки. «Дорогой Викентий, — писала бабушка, — жду тебя, конечно же, с нетерпением. Но уже сейчас хочу тебе сообщить, что рожать я буду в сентябре, во второй половине. Все говорят, что будет мальчик, и я тоже так думаю. А у нас на работе арестовали Сыроежкина. Говорят, что он был связан с японской шпионской сетью. Когда же все это кончится и у нас уже не будет никаких врагов? Обнимаю тебя крепко-накрепко, целую и люблю. Береги себя!»

Луиза улыбнулась и пожала плечами. Но чем дальше, тем больше заинтересовывали ее письма, по которым она видела, как постепенно менялся слог ее бабушки, как все грамотнее и культурней становились ее письма. Особенно интересно ей было узнать о появлении на свет в 1950 году первой внучки, «миленькой и долгожданной Лизоньки». К этому времени на один год приходилось всего два три письма, а затем переписка и вовсе прервалась — генерал Куликов перестал отлучаться надолго.

Открыв зеленую папку Викентия Изотовича и прочитав первые письма, Луиза отметила их суховатый, почти канцелярский тон, которым коротко сообщалось о здоровье, погоде и предполагаемых сроках возвращения домой. Даже в треугольных письмах военной поры сохранялась эта сухость: «Не беспокойся, милая Капа. Очень скоро все переменится, и враг будет разбит. Это я тебе твердо обещаю». «Родная моя, надо запастись терпением и ждать. Враг силен, но и наши силы могучи!» «Дорогая Капа! Из печати ты уже должна знать, что враг остановлен, а в Подмосковье отброшен от столицы на несколько километров. Ни о чем не беспокойся, береги себя и детей. Победа обязательно будет за нами!» Однажды подполковник Куликов не сдержался и написал: «Родная моя Капочка! Сколько же крови вокруг. И как подумаю я, что нет того наказания, которым можно было бы отплатить гитлеровским и бандеровским негодьям за все, что они нашим со-

ветским людям принесли, кулаки от злости сжимаются, хочется поднять солдат и туда, к ним, чтобы бить и бить проклятых нелюдей!» В следующем письме, уже вновь сдержанном, эта горячность отчасти объясняется. «Не беспокойся, родная, все будет хорошо. Но видеть в освобожденных нами деревнях и селах обезображенные трупы, лежащие в канавах, раздавленные гусеницами танков трупы женщин и детей — выше моих сил...» Но уже через письмо Куликов опять не сдерживается и пишет: «Только что мне принесли полевую сумку разорванного прямым попаданием политрука. В сумке было незаконченное письмо домой, к родным. И вот что я в нем прочел: «Я думаю, что поражение псов-фашистов так же неизбежно, как и поражение псов-рыцарей, когда-то провалившихся под лед на Чудском озере». Капа, родная, можешь представить, как он ненавидел фашистское отродье, для которого ничего святого на земле нет». Луиза откинулась на спинку кресла и долго, вприщур, смотрела на поставленный к стенке траурный портрет деда. «Нет, не могу я свыкнуться с этой мыслью, — писал уже под конец войны Куликов. — Все кажется мне, что вернусь я домой и меня встретит наш Володька. Он для меня, наверное, так навсегда и останется живым... Прости, что напоминаю тебе о нем...» В одном из писем пятидесятых годов Луиза прочитала: «Встретил я здесь и академика Буняшова. Он прекрасно все понимает, относится ко всему иронично и на прощание довольно твердо пожал мне руку своей птичьей лапкой. И я был очень рад, что он и здесь не вызывает чувства жалости, которое порой так унижает достоинство человека».

«Надо было прочесть все это еще при нем, — запоздало подумала Луиза. — Ведь он так много должен был знать... Подумать только, с самим Буняшовым за ручку здоровался».

«Капа, родная моя! — писал в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году Викентий Изотович. — Размеры несчастья, которое постигло всех нас, ты даже представить не можешь, да и не надо! Поэтому, умоляю тебя, не спрашивай меня пока ни о чем. Я, как и все, виноват только в том, что допустил все это до такого состояния, когда уже ни вмешаться, ни помешать ничему не мог... А что мог — я сделал: подал рапорт о направлении на фронт. И давай, родная, поговорим обо всем этом при встрече, хорошо? Как здоровье моей ненаглядной внученьки? Надеюсь, она уже поправилась? Поцелуй ее за меня. Что с Леной? Я очень обеспокоен этой вашей размолвкой».

И, наконец, последнее письмо, помеченное тысяча девятьсот шестьдесят восьмым годом. На конверте рисунок космического корабля «Союз-3». Мелкий, твердый почерк, буквы ровные и как бы вытекающие одна из другой. «Родная Капа, здравствуй! — писал Куликов. — Вот уже три дня прожили мы в Боровлянке. У меня здесь такое чувство, словно бы я заново родился и во все здесь наново и навсегда влюбляюсь... Нет, милая моя, не может человек жить без своей земли, без своих корней. Но более всего волнует и удивляет меня Луиза. Ты бы видела, как изменилась здесь она. Сегодня даже взялась доить корову. А корова возьми и выбей у нее ведро из рук... Стоит Лизуха наша, лицо и платье в молоке, растерянно улыбается и смотрит на меня виноватыми глазами... Каждый день ходим мы с нею к маме на могилку, и я уже начинаю верить, что могилка не останется беспризорной после нашей смерти... Поживем мы здесь еще пару деньков. Походим с Лизонькой по нашим любимым местам, и я попробую, как смогу, передать ей любовь и уважение к самому дорогому для меня месту на земле — колыбели моего детства и души...»

И далее в письме рассказывалось о том, как они в самый первый раз пришли на кладбище и долго стояли в изножии небольшого холмика, густо поросшего кладбищенской травой. И Луиза, неожиданно ясно вспомнив тот день, свои слезы

и непонятную боль сердца, впервые осознала до конца, что нет на земле и никогда уже не будет ее родного деда — Викентия Изотовича Куликова. И еще она поняла, что письма принадлежат только ей и никому больше, и что право она имеет лишь на одно — прибавить к этим двум папкам третью, свою...

А ночью над столицей и маленьким таежным селом на далеком Амуре пошел крупный пушистый снег, ровно и надежно устилая землю мягким ковром. Сказочно заискрились нарядной белизной поля, луга и перелески, посветлела тайга, приняв на свои хвойные плечи прохладную тяжесть зимы. Похорошели и московские дворики, белея среди серых каменных громад многоэтажных домов. Запоздалые прохожие, выскакивая из троллейбусов, метро и автобусов, лишь в первый момент зябко поводили плечами, а затем с удовольствием бежали по снегу, слушая его неповторимый ломкий хруст.

И все валил и валил на иззябшую землю нескончаемый снег, покрывая дома и дороги, аэропорты и вокзалы, погосты и леса мягким пуховым одеялом. И глядя на этот снег, на это белое чудо небес, каждому человеку хотелось забыть про плохое и продолжить себя в хорошем. И каждому для этого не хватало совсем немного — желания... А оно зависело и от того, какую завтра утром каждый из нас увидит свою землю.